

И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Элио Витторини

Сицилийские беседы



Цена 75 коп.



ЭЛИО ВИТТОРИНИ (1908—1966) — известный итальянский писатель-антифашист, критик, исследователь английской, американской и испанской литератур, воспитатель литературной молодежи. Оказал большое влияние на культурную жизнь страны. Повесть "Сицилийские беседы", написанная в условиях фашистской диктатуры, быстро завоевала мировую славу и была воспринята в Италии, а затем и в Европе как призыв к сопротивлению. Первая книга Э. Витторини "Мелкая буржуазия" вышла в 1931 году. Затем последовали "Красная гвоздика", "Люди и нелюди" (русский перевод 1969 г.), "Женщины Мессины" и др.

41

Elio Vittorini

Conversazione in Sicilia

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Элио Витторини

Сицилийские беседы

Повесть

Перевод с итальянского С. Ошерова

Предисловие Б. Можяева

Москва
«Известия»
1983

И (Итал)
В54

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Витторини Э.
В54 Сицилийские беседы / Пер. с итал.
С. Ошерова. Предисл. Б. Можаяева. — М.:
Известия, 1983. — 128 с. (Библиотека жур-
нала «Иностранная литература»)

Повесть одного из крупнейших итальянских писателей Элио Витторини «Сицилийские беседы» написана во времена фашизма. Главный ее персонаж, житель Милана, совершает путешествие на родину в Сицилию. Встречи героя с матерью и земляками, его впечатления, размышления об увиденном и составляют содержание книги, которая по праву считается вершиной антифашистской литературы Италии.

В $\frac{4703000000-045}{074(02)-83}$ 743-83

ББК 84.4 Ит
И/ Итал/

© Перевод на русский язык, предисловие
издательство «Известия», журнал «Ино-
странная литература», 1983 г.

Возвращение к истокам

Повесть эта была опубликована давно — в конце тридцатых годов. И тем не менее читается она с интересом и актуальность ее, а проще говоря, злободневность все еще тревожит и память нашу и сознание.

В чем тут дело? Ведь фашизм в Италии, да и не только в Италии, свергнут и развеян в прах; там теперь иные законы и заботы иные, чем были в те давние времена.

Порядок другой, но народ все тот же, и нравственные категории, то есть понятия о добре и зле, о чести и бесчестии, об эгоизме и человеколюбии все те же. И не только там, в Италии, но и в других странах эти нравственные законы, которые пытаются соблюдать люди, примерно одни. Оттого-то нам так интересно следить за нарушением этих нравственных законов в те давние времена, оттого-то и волнуют нас поиски героем повести, а следовательно и самим автором, выхода из этого нравственного тупика.

Автор отлично понимал, что опубликовать в ту пору в Италии повесть, где открыто, в лоб, осуждался бы фашизм, ему никто бы не позволил. А написать такую книгу, опубликовать ее непременно надо было, хотя бы для того, чтобы поддержать дух сопротивления народа разлагающему влиянию фашизма. Поэтому он, ни словом не упоминая о фашизме, устами своих героев развенчивает те ложные принципы, те сомнительные истины, на которых, как на опорных столбах, покоится тяжкое и громоздкое здание официальной идеологии.

В кратком предисловии невозможно дать анализ художественных особенностей произведения, да и незачем. Читатель и сам оценит по достоинству великолепно написанные сцены из сицилийской жизни той поры, живописные, остро схваченные фигуры попутчиков героя, посетившего родные края. Но поговорить о социальных проблемах, об идейно-философской концепции повести стоит.

Более всего автора заботит и заставляет беспокоиться всеобщее равнодушие и уныние — этот один из главных грехов, сковывающих и души и сердца людские: «Это и было страшно: *покой в безнадежности*. Думать, что род человеческий погиб, и не испытывать ни страсти, ни воли сделать что-нибудь вопреки...»

«Что делают, когда махнут на себя рукой? Когда готовы выбросить себя на помойку, как пропавшего? Занимаются тем, что сами больше всего ненавидят... Думаю, в этом деле», — говорит Большой Ломбардец, один из тех, кто еще не сломлен духом и готов отстаивать иные, не казенные принципы.

От всеобщей лжи и всеобщего равнодушия погибает род людской, ложь во всем: и в призывах «крикливых газет» идти на войну, которая высокопарно именуется «полем чести», и в том, что люди отправляются на бойню, чтоб отстоять этот якобы самый передовой и прогрессивный порядок (режим Муссолини), за которым-де будущее, потому что он избавил от безработицы, то есть обеспечил всех правом на труд.

Безработицы нет. Но как живут эти обеспеченные правом на труд? Что получают за свою работу сицилийские поденщики на апельсиновых плантациях? А вот что — им платят апельсинами, которые негде и некому сбыть, которые не покупают. Оттого-то и едят они один раз в день, и живут в крайней бедности. Оттого-то и кричит в иступлении «маленький сицилиец», этот доведенный до отчаяния поденщик и раб нужды: «Никто их не хочет. Мы ходим взад-вперед, платим за проезд — за себя и за них, — не едим хлеба, а их никто не хочет. Никто... Как будто они ядовитые. Проклятые апельсины!»

И даже этот крик души обделенного и униженного работника вызывает немедленную реакцию блюстителей порядка: «— Чего этот тип хотел? — Вроде бы протестовал... — На кого-то злился. — Я бы сказал, он зол на всех...» «— Всякий, кто умирает с голоду, опасен, — сказал Безусый. — А как же? Он способен на все, — сказал Усатый... — Пуститься даже на политическое преступление, — сказал Безусый».

Как понимали эти стражи порядка политическое преступление?

«По-видимому, они понимали его как недостаток почтительности, уважения и без всякой злобы обвиняли все человечество, говоря, что человечество рождено для преступлений. — Люди любого класса... Любого слоя... — говорил Усатый. А Безусый отвечал: — Хоть неучи... Хоть образованные».

Все те, которые видят пагубную склонность ко всеобщей лжи и круговой поруке, кто по мере сил осуждает ее или протестует, тот уже и враг для всех усатых и безусых охранников этой заколдованной круговерти.

Но есть ли выход из этой порочной системы? Да, есть. Он прежде всего зависит от нас самих, как бы говорит нам автор. Зависит от нашего желания жить по-новому, то есть не исполнять эти колдовские ритуалы всеобщего приобщения к фальшивой исповедальне, не поддаваться фашистской демагогии. Искать новых связей между людьми, искренних и чистых, которые смогли бы объединить всех в новой вере и в новом содружестве.

Об этом и говорит Большой Ломбардец, символизирующий собою живой и несломленный дух народного сопротивления: «Но мне все кажется, что между мною и людьми нет мира».

«Ему хочется, чтобы совесть была свежей — он так и сказал: свежей — и чтобы она ему велела исполнять другой долг, *не обычный, а другой, новый*, более высокий долг перед людьми».

Поиском этого «нового, более высокого долга перед людьми» и занимается в основном герой повести, приехавший в родную Сицилию, чтобы прикоснуться к изначальным истокам.

Навещая с матерью больных и страждущих: богатых и бедных, голодающих и сытых, он с грустью замечает, что и здесь, как и повсюду в мире, «один смеется, другой плачет», «один преследует, другой преследуем», и «не всякий человек есть человек, не весь род человеческий есть род человеческий».

Да, «больно за мир, который терпит обиды». Но беда не только в том, что люди, достойные лучшей жизни, страдают, беда в том, что каждый страдает за себя, «никому не больно оттого, что мир терпит обиды, и он терпит их снова и снова». Оттого-то и пишет автор «историю обид, которые терпит мир».

И автор говорит о себе устами героя: я страдаю, но пишу обо всех обидах, пишу о рожах, «у которых и прошлые и будущие обиды вызывают смех».

Отчего же люди теряют свое человеческое достоинство? И что значит потерять человеческое достоинство? И кто же достоин называться человеком?

Потерять человеческое достоинство по Витторини — значит сделаться равнодушным и свое личное преуспевание, свои довольство и сытость, полученные от выгод, которые дает положение преследователя сограждан своих, ставить превыше всего. Оттого-то и говорит он гневно, что «не всякий человек есть человек, не весь род человеческий есть род человеческий». «Род человеческий только из преследуемых». А преследователей он называет нелюдями.

«Не из-за смирения человек перестает быть человеком», и не из-за гордости, и даже не из-за слабости и болезни. Конечно, болезнь может быть причиной смерти, но в смерти залог воскресения, если человек жил заботой о благе других. Эгоизм же убивает человека заживо, такой человек смердит, как ходячий труп. И неудивительно, что сицилийцы отворачиваются от упитанных земляков своих, охранителей этого «образцового» порядка, говоря, что от них воняет. Оттого-то герой ищет людей с чувством «нового» долга, «других» обязанностей, заставляющих искать выход из создавшегося тупика. «Будучи человеком, он думает о других обязанностях. И это делает его еще больше человеком».

Но мало только одного — думать о «других обязанностях». Что толку от тех, которые и думают и даже громко ораторствуют о «других обязанностях» за кружкой вина в кабачках?

Нет, нет! Только не это; «человек обнажен во хмелю, беспомощен, унижен, когда он меньше человек, чем младенец или мертвец». Вино «это — не живой сок лета и земли, но печальный-печальный призрак из пещер столетий. Чем иным оно могло быть в мире, который непрестанно терпит обиды?»

«Нужна живая вода», то есть дело, рождающее надежды на воскресение. «Только живой водой можно смыть обиды, нанесенные миру».

Какие дела, какие действия необходимы в мире, охваченном всеобщим безумием? Об этом автор прозрачно намекает в разговоре матери с сыном. Но об этом чуть позже.

После всеобщей попойки в подвале трагедии герой символически, в полубредовом состоянии переносится на кладбище, где встречается с братом своим, погибшим на «поле чести» не то в Абиссинии, не то в Испании. И с ужасом узнает от него, что хоть ему теперь и невозможно нанести обиду, но и на том свете он страдает. Страдает от «представления», от «разыгрывания истории», то есть от лживых демагогических феерий по поводу побед, одержанных во имя интересов государства, установления «справедливого» порядка и прочего.

Все участвуют в представлении: «Короли и их противники, победители и побежденные». Все соревнуются в утверждении своей славы до тех пор, пока «Шекспир не переложит в стихи все про них и не отомстит за побежденных, а победителей не простит».

То есть все эти претенденты на славу и величие торопятся утвердить себя, пока не явится гений и бессмертным творением своим не укажет каждому свое место в истории человеческих деяний. Да воздастся каждому по заслугам его! Творцу добра и справедливости — почет и слава, злодею — презрение и проклятье.

Но пока суд да дело, а высший суд гения, как и божий суд, не скор и сроки его не указаны, эти претенденты на бессмертие нетерпеливым скопищем разыгрывают свои спектакли, будоража и оскорбляя живых и мертвых. Ведь каждый солдат, искалеченный или убиенный, вынужден помимо воли своей «представлять», как он лежит на «поле чести»: «связанный, как раб, каждый день снова и снова пронзаемый на поле, где снег и кровь».

«— Так вот что вы представляете!

— Именно, — ответил солдат. — Я — частица этой славы.

И я сказал: — А много вам приходится страдать?

— Много, — сказал он. — Тысячекратно... От каждого напечатанного слова, от каждого произнесенного слова, от каждого миллиметра воздвигнутой бронзы».

Любой оборот официозной демагогии и лжи особенно вреден и отвратителен, когда в ход пускают святая святых — человеческие жизни. Никакими словами нельзя утешить изнывающее от боли и тоски сердце матери, потерявшей сына.

«— Одной только вещи я не пойму. Почему эта синьора назвала меня счастливой матерью?»

Я ответил с готовностью: — Это-то понятно. Потому что его смерть — честь для тебя... Он ведь погиб на поле чести».

И с ходу в утешение матерям охотно подсказывают аналогичные примеры из истории — а что, мол, сказала Корнелия, мать Гракхов?

«— Что ее сокровища — это ее сыновья.

— Вот видишь? Корнелия гордилась сыновьями.

Теперь мать улыбалась.

— Дурак ты, — сказала она. — Но сыновья Корнелии не умерли.

... — Тогда еще не умерли. Но из-за чего, по-твоему, Корнелия ими гордилась? А она знала, что они готовы умереть. Корнелия была матерью-римлянкой».

А в самом конце повести мать скажет сыну:

«Ты меня обманул с этой Корнелией. Ведь ее Гракхи пали не на поле чести».

Да, погибли не послушными волонтерами, а борцами за лучшую долю притесняемых граждан. Тут Витторини как бы подводит читателя к великой мысли, наиболее ярко и точно высказанной Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

Да, все люди должны давать бой нелюдям. К этому и призывал Витторини уже открыто в своем следующем произведении — в романе «Люди и нелюди», посвященном партизанской борьбе с фашизмом.

Б. Можжев

Часть первая

I

Этой зимой меня стали одолевать приступы беспредметной ярости. Что за приступы, я умолчу: не о них взялся я рассказывать. Но нужно сказать, что они были беспредметны, без всякой героики и страсти: просто меня приводила в ярость гибель рода человеческого. Так тянулось долго, и я не поднимал головы. Я видел призывы в крикливых газетах — и не поднимал головы; я встречался с друзьями, сидел с ними час, два часа, не проронив ни слова, и не поднимал головы. У меня была девушка, или жена, она ждала меня, но и с нею я не говорил ни слова, и с нею не поднимал головы. Шел дождь, проходили дни и месяцы, я ходил в рваных башмаках, башмаки пропускали воду, и не было ничего, кроме дождя, массовых боен в газетных призывах, воды в рваных башмаках, бессловесных друзей, кроме жизни, которая во мне была подобна глухому сну, кроме безнадежности и покоя.

Это и было страшно: покой в безнадежности. Думать, что род человеческий погиб, и не испытывать ни страсти, ни воли сделать что-нибудь вопреки — например, погибнуть вместе с ним. Беспредметная ярость одолевала меня, но она была не в крови, и я оставался спокоен и без всяких желаний. Мне было не важно, что моя девушка ждет меня, было все равно, пойти к ней или листать словарь, все равно, выйти из дому, встретиться с друзьями, с другими людьми или остаться дома. Я был спокоен, как будто не знал в прошлом ни дня жизни, не понимал, что значит быть счастливым, как будто мне нечего было говорить, утверждать, отрицать, ставить на карту, давать другим и не от кого получать распоряжения, как будто во все годы моего существования я никогда не ел хлеба, не пил вина, кофе, не спал с моей девушкой, не имел детей, не набрасывался ни на кого с кулаками и не верил, что все это возможно, как будто у меня не было детства в Сицилии, среди опунций и серы, в горах. Но в душе я донимал себя этой

беспредметной яростью, я думал, что род человеческий погиб, не поднимал головы, а тем временем шел дождь, я молчал в компании друзей, и башмаки мои пропускали воду.

II

Тогда-то и пришло письмо от отца. Я узнал почерк на конверте и не сейчас же вскрыл его, я помедлил, чтобы продлить узнавание, так как теперь осознал опять, что был маленьким, что у меня было какое-никакое детство. Я распечатал письмо, в письме говорилось:

«Дорогой мой мальчик,

ты знаешь, и вы все знаете, что я всегда был хорошим отцом, а для вашей матери хорошим мужем, одним словом, хорошим человеком, но теперь со мною произошел один случай и я уехал, но вы не должны дурно обо мне судить, я остался таким же хорошим человеком, как был, а для вас всех таким же хорошим отцом и добрым другом для вашей матери, и больше того, я смогу быть хорошим мужем для моей, скажем так, новой жены, с которой я уехал. Дети мои, я обращаюсь к вам без стыда, как мужчина к мужчинам, и не прошу у вас прощения. Я знаю, что никому не делаю плохо. Ни вам, уехавшим раньше меня, ни вашей матери, которую в сущности избавляю от своего докучливого общества. Со мною или без меня — ей все равно, она по-прежнему будет напевать и насвистывать у себя дома. Поэтому я отправляюсь новым путем без сожалений. Вам не надо заботиться ни о деньгах, ни о прочем. У вашей матери не будет нужды ни в чем: она каждый месяц будет получать полностью мою пенсию бывшего железнодорожника. А я проживу частными уроками и так осуществлю давнюю мечту, которую ваша мать всегда мешала мне осуществить. Однако прошу вас об одном: теперь, когда ваша мать осталась одна, навещайте ее хоть изредка. Тебе, Сильвестро, когда ты нас покинул, было пятнадцать лет, и с тех пор — прощайте, ты и глаз к нам не казал. Почему восьмого декабря, вместо того чтобы, как обычно, поздравлять ее с именинами открыткой, не сесть в поезд и не навестить ее?

Целую тебя, твою милую жену и детей и остаюсь — поверь мне — твой л-ций папа Костантино».

Я увидел, что письмо пришло из Венеции, и понял, что нам всем, пятерым сыновьям, разбросанным по миру, он написал в одних и тех же словах, словно разослал циркуляр. Это было странно; я перечел письмо и узнал отца, его голос, его лицо, его голубые глаза и его привычки, я на мгновение снова стал мальчиком, который аплодировал ему, когда он играл Макбета в зале ожидания маленькой станции для железнодорожников всей линии от Сан-Катальдо до Ракальмута.

Я узнал его и понял, что был мальчиком, и подумал о Сицилии, о ее горах. Но только на это расщедрилась моя замкнувшаяся память: узнать отца, увидеть себя мальчиком, аплодирующим ему, а его — в красном одеянии Макбета, вновь обрести его голос и голубые глаза, как будто он сейчас опять декламировал на подмостках, именуемых Венеция, и нужно было опять ему аплодировать. Только на это и расщедрилась моя память — и снова закупорилась, и я стал спокоен в безнадежности, словно никогда не было пятнадцати лет детства в Сицилии, опунций, серы, «Макбета», гор. После этих пятнадцати лет прошло еще пятнадцать, за тысячу километров оттуда, от Сицилии и от детства; мне было без малого тридцать, но сейчас все было так, словно ничего не было — ни первых полутора десятилетий, ни вторых, словно я никогда не ел хлеба, не обогатился великим множеством вещей, запахов, ощущений за этот долгий срок, словно я никогда не был живым, а был пуст изнутри, — вот это было, я опустошил себя мыслями о погибшем роде человеческом и оставался спокойным в своей безнадежности.

Мне не хотелось больше глядеть в лицо моей девушке, я листал словарь — единственную книгу, которую сейчас способен был читать, и вдруг услышал в себе жалобный звук — как будто жалобно заиграла дудочка. Каждое утро я шел на работу, занимался своим ремеслом наборщика-линотиписта, проводил семь часов в день за линотипом, в жирном жаре свинца, защитив себе глаза козырьком, и дудочка

звучала во мне, выманивая наружу бесчисленных мышей, которые, собственно, не были воспоминаниями.

Это были только мыши, серые, без облика, триста шестьдесят пять и еще триста шестьдесят пять, темные мыши прожитых мною лет, но только прожитых в Сицилии, в горах, и я чувствовал, как во мне копошатся мыши, пятнадцать раз по триста шестьдесят пять, и дудочка звучала во мне, и у меня возникла смутная ностальгия, как бы желание вновь обрести мое детство. Я взял и перечитал письмо от отца, было седьмое декабря, мне следовало написать к восьмому обычную открытку, поздравить мать, было бы свинством забыть об этом теперь, когда она осталась одна в доме.

Я написал поздравительную открытку, сунул ее в карман. Была суббота, я получил сегодня жалование за две недели. Я пошел на вокзал отправить открытку, прошагал перед вестибюлем, он был полон света, а снаружи лило, и башмаки у меня пропускали воду. По ступеням я поднялся в вестибюль, полный света, мне было все равно, идти ли дальше, к дому, под дождем или подняться на несколько ступенек, поэтому я поднялся туда, где светло, и увидел на стенах два листа бумаги. Один лист — крикливая газета с новыми призывами к бойне, другой — плакат ИТК*: «Посетите Сицилию, 50% скидки с декабря по июнь, 250 лир до Сиракуз и обратно третьим классом».

Тут я оказался как бы на развилке двух дорог, одна вела домой, к отрешенности этих толп, гонимых на бойню, к покою и безнадежности, другая вела в Сицилию, в горы, навстречу жалобному напеву зазвучавшей во мне дудочки, к чему-то, что могло бы оказаться не столь мрачным покоем, не столь глухой безнадежностью. Мне было все равно, какой дорогой пуститься, род человеческий все равно погиб, и я узнал, что поезд на юг уходит в семь, то есть через десять минут.

Во мне пронзительно звучала дудочка, мне было все равно, ехать или нет, я попросил билет за 250 лир, и от полученного сегодня жалования за две недели у меня осталось в кармане еще сто лир. Я вышел на перрон, оказался среди огней, среди

* Итальянская туристическая компания.

высоких локомотивов и орущих носильщиков и пустился в долгое ночное путешествие, хотя ехать было для меня то же самое, что сидеть дома за столом, перелистывая словарь, или спать с моей девушкой-женой.

III

Я ехал и ехал, и около полуночи сделал пересадку во Флоренции, около шести утра снова пересел в Риме-Термини и к полудню был в Неаполе, где не было дождя; отсюда я послал по телеграфу пятьдесят лир жене и написал ей: «Вернусь в четверг».

Потом я отправился поездом в Калабрию, снова пошел дождь, наступила ночь, и я узнал путешествие, узнал себя — мальчишку, вспомнил те десять раз, когда бежал из дому, путешествовал туда и обратно по этой стране дыма и тоннелей. Я узнал неопишуемые свистки поезда, остановившегося среди ночи, перед въездом в гору, над кромкой берега, перед названиями древних сновидений: Амантеа, Маратеа, Джойя Тавро. Так одна из мышей во мне вдруг перестала быть мышью, стала запахом, вкусом, небом, и на миг напев дудочки сделался из жалобного мелодичным. Я заснул, проснулся, снова стал засыпать и просыпаться, пока не оказался на судне-пароме, двигавшемся в Сицилию.

Море было черное, зимнее, и, стоя на верхней палубе, как на плоскогорье, я снова узнавал себя — мальчишку, жадно вбирающего ветер, море у того или другого берега, где, словно кучи битого кирпича, сквозь дождливое утро видны были у моих ног города и деревни. Было холодно, и я узнал себя — мальчишку, мерзнущего, но упрямо остающегося на верхней палубе, на ветру, высоко над движением и морем.

Впрочем, на палубе негде было повернуться: пароход был набит маленькими сицилийцами — пассажирами третьего класса, голодными и кроткими на одолевавшем их холоде, без пальто, руки в карманах брюк, воротники пиджаков подняты. В Вилле Сан-Джованни я купил себе поесть: хлеба и сыру — и теперь закусывал на палубе хлебом, крутым воздухом и сыром, со вкусом, с аппетитом, потому что в этом сыре я узнавал вкус

и даже запах моих гор: козьих отар, полынного дыма. Маленькие сицилийцы, ссутулившись на ветру и засунув руки в карманы, смотрели, как я ем, с темными, но кроткими лицами, с отросшей четырехдневной щетиной: рабочие, батраки-поденщики в апельсиновых рощах, железнодорожники с седыми волосами под красным околышком команды путевых работ. Я ел и улыбался им, а они глядели на меня без улыбки.

— Нигде нет такого сыра, как у н а с , — сказал я.

Никто мне не ответил, все глядели на меня: женщины с пышными формами, восседавшие на узлах со скарбом, мужчины на ногах, маленькие и как будто бы обожженные ветром, с руками в карманах. И я снова сказал:

— Нигде нет такого сыра, как у нас.

Потому что вдруг на меня напал восторг — от этого сыра, от того, что я чувствовал его во рту вместе с хлебом и крепким воздухом, чувствовал его белый и вместе острый вкус, старинный, с зернами перца, похожими на неожиданные искры. — Нигде нет такого сыра, как у н а с , — в третий раз сказал я.

Тогда один из сицилийцев, самый маленький и кроткий, но с самым темным лицом, самый обожженный ветром, спросил меня: — А разве вы сицилиец? — А как ж е ! — ответил я.

Мужчина пожал плечами и ничего не сказал, с ним была девочка, она сидела на узле у его ног, и он наклонился к ней, вытащил из кармана большую красную руку и коснулся ее, лаская и в то же время поправляя на ней шаль, чтоб не зябла.

Что-то в этом жесте указало мне, что девочка — не дочь ему, а жена. Между тем Мессина приближалась, она не была больше кучей битого кирпича у кромки моря, превратилась в дома, и дамбы, и белые трамваи, и почерневшие вагоны на широких прогалинах железной дороги. Утро было пасмурное, но без дождя, верхняя палуба была мокрая, и ветер дул мокрый, и парходные свистки звучали мокро, и такими же, как свистки на воде, с суши долетали свистки локомотивов, но дождя не было, и за парходными трубами показалась среди зимнего моря высоченная башня маяка, плывшая в Виллу Сан-Джованни.

— Нигде нет такого сыра, как у н а с ! — сказал я.

Все сицилийцы повернулись к палубным перилам и смотрели

на город, и женщины на узлах тоже повернули головы, чтобы посмотреть. Но никто не сдвинулся с места, чтобы перейти на нижнюю палубу и подготовиться к высадке: ведь времени еще хватит! Я отлично помнил, что от маяка до причала ходу минут пятнадцать, если не больше.

— Нигде нет такого сыра, как у н а с ! — сказал я.

Я доедал свой завтрак, а муж девочки-жены снова наклонился, встал на колени и под ее взглядом принялся возиться с корзиной. Она была накрыта клеенкой, пришитой к краям шпагатом, который он потихоньку подпорол, засунул руку под клеенку и вытащил апельсин.

Апельсин был не такой уж большой, не очень красивый и неяркий по цвету, но все же это был апельсин, и мужчина молча, не поднимаясь с колен, протянул его девочке-жене. Девочка поглядела на меня, я увидел ее глаза под нахлобученной шляпью, а потом увидел, как она мотнула головой.

Маленький сицилиец, казалось, был в отчаянии, он все еще стоял на коленях, в одной руке апельсин, другая в кармане. Потом он встал, но не тронулся с места, и пока он так стоял с апельсином в руке, ветер прижимал ему мягкий козырек фуражки к носу, и все его маленькое существо, не защищенное пальто, было обожжено холодом и пронизано отчаянием, между тем как прямо под нами, в утренней хмари, проплывали море и город.

— Мессина, — жалобно сказала одна из женщин. Она сказала это так, низачем, вроде как пожаловалась; а я наблюдал за маленьким сицилийцем рядом с девочкой-женой, как он с отчаянным видом чистит апельсин и с такой же миной ест его, безо всякого желания глотает дольки, не жуя и как будто все проклиная, и пальцы его на холоде мокры от апельсинового сока, спина согнулась под ветром, а мягкий козырек прижат к н о с у . — Сицилиец никогда не ест с у т р а , — выпалил он вдруг. И д о б а в и л : — Вы что, американец?

В его голосе было отчаяние, но также и кротость, как она была в нем, когда он с отчаяньем чистил апельсин и с отчаяньем ел его. Последние слова он произнес возбужденно, напряженным, резким тоном, как будто для душевного спокойствия

ему необходимо было знать, что я американец.

— Да , — сказал я, заметив э т о . — Я американец. Вот уже пятнадцать лет.

IV

Шел дождь; на дамбе станции Приморская ждал маленький поезд, в который мне предстояло сесть. Из толпы сицилийцев, сошедшей с парома, одни разошлись, подняв воротники пиджаков, засунув руки в карманы, напрямик через залитую дождем площадь; другие остались под навесом, стояли неподвижно, как перед корабельным бортом, подле своих женщин, узлов и корзин.

Поезд ждал, пока прицепят вагоны, переехавшие через море на пароме; маневр был долгий, и я очутился рядом с маленьким мужем девочки-жены, которая опять сидела у его ног.

На этот раз он мне улыбнулся; с безнадежным видом, засунув руки в карманы, под ветром, на холоде, он все же улыбнулся мне из-под матерчатого козырька, закрывавшего ему поллица.

— У меня двоюродные братья в Америке, — сказал о н . — Дядя и двоюродные братья... — Вот оно ч т о , — сказал я. — А где они? В Нью-Йорке или в Аргентине?

— Не з н а ю , — ответил о н . — Может, в Нью-Йорке или в Аргентине. Словом, в Америке. — Так он сказал и добавил: — А вы сами откуда? — Я? Я родился в Сиракузах.

А он сказал: — Нет... Из какого места в Америке?

— Из... из Нью-Йорка, — сказал я.

Один миг мы молчали; я, под впечатлением этой лжи, глядел на него, он глядел на меня глазами, невидимыми под козырьком фуражки.

Потом он спросил, почти ласково: — А как дела в Нью-Йорке? Хорошо? — Разбогатеть там не разбогатеешь, — ответил я.

— Дело не в э т о м , — сказал о н . — Можно и без богатства жить неплохо... Даже еще лучше...

— Как з н а т ь ! — сказал я. — Там тоже безработица.

— Дело не в безработице, — сказал о н . — Не вся беда от безработицы... Дело не в этом... Вот я не безработный. — Он

показал на других маленьких сицилийцев. — И никто из нас. Мы все работаем... В садах. Работаем... — Он запнулся, изменившимся голосом добавил: — Вы что, вернулись из-за безработицы?

— Нет, — сказал я. — Я приехал всего на несколько дней.

— Ну вот, — сказал он. — И едите утром. Сицилиец никогда не ест утра. — И спросил: — В Америке все едят по утрам?

Я мог ответить ему, что нет, и что я сам обычно не ем с утра, и еще, что я знаю много людей, которые едят не чаще раза в день, и так во всем мире, но я не мог плохо говорить ему об Америке, где сам не был, и к тому же речь шла не об Америке подлинной, реальной, а о его идее царствия небесного на земле. Я не мог: это было бы несправедливо.

— Думаю, что да... — сказал я. — Так или иначе... — А днем? — спросил он тогда. — В Америке все едят днем? — Думаю, что да, — сказала я. — Так или иначе... — А вечером? — спросил он. — В Америке все едят по вечерам? — Думаю, что да, — сказала я. — Лучше или хуже. — Хлеб? — спросил он. — Хлеб с сыром? Хлеб с зеленью? Хлеб с мясом?

Он говорил с надеждой, и я не мог ответить «нет».

— Да, — сказал я. — Хлеб и все прочее.

И он, маленький сицилиец, на миг онемел, испытав надежду, потом посмотрел на девочку-жену, которая, так же насупившись и замкнувшись в себе, неподвижно сидела у его ног, и снова вид его стал безнадежным, и с тою же безнадежностью, что и на борту, он наклонился, подпорол шпагат на корзине, вытащил апельсин и безнадежно протянул его, все еще согнувшись в три погибели, жене, а после ее немногого отказа, оставшись с апельсином в руке, был так же безнадежно унижен и стал чистить его для себя и есть, проглатывая дольки, как проглатывают проклятья.

— У нас, — сказала я, — из них делают салат. — В Америке? — спросил сицилиец. — Нет, здесь, — сказала я. — Здесь, у нас? — переспросил сицилиец. — И заправляют маслом?

— Когда как, — ответил я. И добавил: — А вы никогда не ели салат из апельсинов? — Ели иногда, — сказал сицилиец. — Но не всегда есть масло. — Да, — сказал я. — Годна год не приходит-

ся... Масло иногда стоит дорого. — И хлеб не всегда бывает, — сказал сицилиец, — Если не продашь апельсинов, нет и хлеба. И приходится есть апельсины... Вот так, видите?

Он с отчаянием ел свой апельсин, и пальцы его на холоде были мокры от апельсинового сока, и он смотрел на девочку-жену у своих ног, которая не хотела апельсинов.

— Но ведь они очень питательны, — сказал я. — Вы не продадите мне несколько штук? — Маленький сицилиец проглотил последнюю дольку и вытер руки о пиджак. — Правда? — воскликнул он. И, наклонившись над корзиной, стал рыться под клеенкой и протянул мне четыре, пять, шесть апельсинов.

— Но в чем дело? — спросил я. — Разве так трудно сбыть апельсины? — Их не продашь, — сказал он. — Никто их не хочет.

Тем временем поезд был подан, к нему уже прицепили вагоны, переехавшие через море.

— За границей их не хотят, — продолжал маленький сицилиец, — как будто они ядовитые, наши апельсины. И хозяин расплачивается с нами так. Дает нам апельсины... И мы не знаем, что делать. Никто их не хочет. Мы приходим пешком в Мессину, и никто их не хочет... Мы отправляемся в Реджо, в Виллу Сан-Джованни — может, там захотят; никто не хочет.

Прозвучала труба обер-кондуктора, локомотив засвистел.

— Никто их не хочет. Мы ходим взад-вперед, платим за проезд — за себя и за них, — не едим хлеба, а их никто не хочет. Никто.

Поезд тронулся, я вскочил в первую попавшуюся дверь.

— Прощайте, прощайте!

— Никто их не хочет... Никто. Как будто они ядовитые. Проклятые апельсины!

V

Вскочив на ходу в поезд, я бросился на деревянную скамью и тут же услышал из коридора, как два голоса обсуждают случившееся.

Собственно, ничего такого на самом деле не случилось: не было ни происшествия, ни даже жеста; только тот человек,

маленький сицилиец, прокричал мне вслед последние слова своего рассказа, потому что времени не оставалось и поезд отходил. Только это: два слова. И вот голоса обсуждали случившееся.

— Чего этот тип хотел? — Вроде бы протестовал... — На кого-то злился. — Я бы сказал, он зол на всех. — Да, я тоже так сказал бы: ведь он умирает с голоду. — Будь я на перроне, я бы его задержал.

Это были голоса курильщиков сигар, громкие и тягучие, слащавые из-за диалекта. Они говорили по-сицилийски, на диалекте.

Высунув голову в коридор, я увидел их: двое мужчин у окошка, плотные, приземистые, в пальто и шляпах, один с усами, другой без, похожие на сицилийских возчиков, но ухоженные, цветущие, с самоуверенными затылками и спинами; а вместе с тем была в них какая-то фальшь и принужденность: может быть, от скрытой робости.

«Баритоны», — сказал я про себя.

Один из них, тот, что без усов, действительно говорил певучим, гибким баритоном.

— Ты бы только выполнил свой долг, — сказал он.

Голос у другого был прохрипший от сигар, но звучал из-под усов слащаво, из-за диалекта.

— Конечно, — согласился он, — я бы только выполнил долг.

Я убрал голову и стал прислушиваться из купе, с каждой сменой голосов — баритонального и хриплого — воображая себе лица: одно безусое, другое усатое.

— Таких типов всегда нужно задерживать, — сказал Безусый. — Да, конечно, — сказал Усатый, — ведь никогда не знаешь...

— Всякий, кто умирает с голоду, опасен, — сказал Безусый. — А как же? Он способен на все! — сказал Усатый. — Украсть, — сказал Безусый.

— Само собой, — сказал Усатый. — Устроить поножовщину, — сказал Безусый.

— Наверняка, — сказал Усатый. — Пуститься даже на политическое преступление, — сказал Безусый.

Они переглянулись, улыбнулись друг другу, я увидел это

по лицу одного и по спине другого, и продолжали разговор о том, что оба они, Усатый и Безусый, понимали под политическим преступлением. По-видимому, они понимали его как недостаток почтительности, уважения и без всякой злобы обвиняли все человечество, говоря, что человечество рождено для преступлений.

— Люди любого класса... Любого слоя... — говорил Усатый. А Безусый отвечал: — Хоть неучи... Хоть образованные. — Усатый: — Хоть богатые... Хоть бедные... — Безусый: — Никакой разницы. — Усатый: — Лавочники... — Безусый: — Адвокаты... Усатый: — Мой колбасник там, в Лоди... — Безусый: — А в Болонье один адвокат...

Они опять переглянулись, опять улыбнулись друг другу, я снова увидел это по лицу одного и по спине другого и под стук идущего поезда, между морем и апельсиновыми деревьями, выслушал их рассказы о колбаснике в Лоди и об адвокате в Болонье.

— Видишь, — сказал Усатый, — они все непочтительны.

— В них нет уважения... — сказал Безусый.

Усатый: — В Лоди мой парикмахер... — Безусый: — Мой домохозяин в Болонье...

И они рассказали друг другу о парикмахере в Лоди и о домохозяине в Болонье, и Усатый сказал, что один раз задержал этого парикмахера и посадил его на три дня, а Безусый сказал, что сделал то же самое со своим мясником в Болонье, и по их голосам я почувствовал, что они испытывают удовлетворение, довольны до растроганности и готовы броситься друг другу на шею в общем удовлетворении тем, что было, как они знали, в их власти: задерживать и сажать.

Они стали рассказывать о других мелких происшествиях, по-прежнему беззлобно, по-прежнему жалуясь, а под конец и с удовлетворением, а потом оба впали в замешательство, начали спрашивать друг друга, почему люди, в конце концов, их терпеть не могут.

— Это потому, что мы сицилийцы, — сказал Усатый.

— Так и есть, потому что мы сицилийцы, — сказал Безусый.

Они порассуждали, каково быть сицилийцем в Лоди или си-

цилийцем в Болонье, и внезапно Безусый, издав как бы горестный вопль, сказал, что в деревне, в Сицилии, еще хуже.

— Ох, верно, еще х у ж е , — сказал Усатый.

Безусый: — В Шаккея . . . — У с а т ы й : — А я в Муссумели...

Они поговорили о том, чем хуже в Шакке и в Муссумели, и Безусый сказал, что его мать скрывает, кто он, ей стыдно сознаться, и она рассказывает, что он служит в землемерной управе.

— Служащий землемерной у п р а в ы ! — сказал он.

— Все дело в предубеждении, — сказал Усатый.

— Знаю... Старые предрассудки... — сказал Безусый.

И они сказали, до чего невыносимо жить у себя в деревне.

Поезд с грохотом бежал между апельсиновыми деревьями и морем, и Безусый говорил: «Какие апельсины!», а Усатый говорил: «Какое море!», и оба говорили, как красиво у них в деревне, в Шакке, в Муссумели, и повторяли, что жить там невозможно.

— Сам не знаю, зачем я туда возвращаюсь, — сказал Усатый.

— А я разве з н а ю ? — сказал Б е з у с ы й . — У меня жена родилась в Болонье, мои дети — болонцы... И все же...

У с а т ы й : — Как только получу отпуск, так обязательно каждый год...

Безусый: — Обязательно... Особенно в этом месяце, когда рождество.

У с а т ы й : — Особенно в этом месяце. А ради чего, в конечном счете?

Безусый: — Чтобы все кишки вымотали...

У с а т ы й : — Чтобы испортили всю кровь...

Тут дверь купе с силой закрыл, можно сказать захлопнул, кто-то из сидевших напротив меня.

Голоса, столь внезапно прерванные, потонули в стуке колес. И поезд летел через апельсиновые рощи, сквозь горы, вдоль моря. Далеко и очень высоко появлялись и исчезали снега, небо было ясное, вычищенное ветром, без дождевой хмари, хотя еще и без солнца; и я узнал этот путь, увидел, что мы на полпути между Мессиной и Катанией. Я не слышал больше голосов за дверью и стал глядеть вокруг, страстно желая найти других сицилийцев.

VI

— Вы не чувствовали, как тут воняло? — спросил меня мужчина напротив.

Он был сицилиец, большого роста, может быть, потомок лангобардов или норманнов из-под Никозии, тоже, как и те, кому принадлежали голоса, похожий на возчика, но весь открытый, настоящий и очень высокий, голубоглазый. Немолодой, лет пятидесяти, и я подумал, что мой отец теперь, может быть, похож на него, хотя помнил отца молодым и стройным, худым, когда он в черно-красном одеянии играл Макбета. Должно быть, этот был из Никозии или Аидоне, он говорил на диалекте и в наши дни очень похожем на ломбардский, с ломбардским «у» — наверное, из ломбардских мест в Валь Демоне: из Никозии или Аидоне.

— Вы не чувствовали, как тут воняло? — сказал он.

У него была бородка цвета перца с солью, голубые глаза и чело олимпийца. В холодном купе третьего класса он сидел без пиджака и только этим, может быть, походил на возчика, ничем другим; он морщил нос над редкими усами и бородкой, хотя шевелюра у него была густая, как у древнего воина, и сидел без пиджака, в рубашке в темную клеточку и в огромном коричневом жилете с шестью карманами.

— Воняло? Чем воняло? — спросил я.

— Как? Неужели вы не чувствовали? — сказал он. — Не знаю, — сказал я, — не пойму, о какой вони вы говорите.

Он обернулся к остальным пассажирам в купе.

Их было трое.

Один — молодой человек в шапке из легкой ткани, закутанный в шаль, с желтым лицом, тощий и щуплый; он сидел в углу по диагонали от меня, у окошка.

Другой, тоже молодой, был полнокровный, сильный, с вьющимися черными волосами, черной шеей — простолюдин из города, наверняка катанец; он сидел на другом конце моей скамьи, лицом к больному.

Третий был старичок без единой волосинки на лице, темный, с шафранного цвета кожей в квадратных чешуйках, как у чере-

пахи, невероятно маленький и сухой — высохший лист. Он вошел к нам в Роккалумере и сидел — если можно назвать это словом «сидеть» — на крашке скамьи, между Большим Ломбардцем и больным, и деревянный подлокотник, который он мог бы откинуть, но не откинул, упирался ему в спину.

Именно к нему — впрочем, поворачиваясь и к остальным — обратился Большой Ломбардец.

Послышался звук вроде вздоха или начинающегося свиста, лишенный плоти голоса: «Хи-хи!» Это смеялся старик. Его глаза смеялись с той самой минуты, как он сел в поезд, — острые, живые глаза, которые с пристальным смехом глядели перед собой на меня, на скамью, на молодого катанца — и смеялись от счастья.

— Невероятно! Он не понимает, какую вонь я имею в виду, — сказал Большой Ломбардец.

Все поглядели на меня и развеселились, даже больной — молчаливым жалким весельем больного.

— Ха! — сказал я, тоже развеселившись. — Я и вправду не понимаю... Не чувствую никакой воню.

Тогда вмешался катанец.

Он наклонился — полнокровный, большеголовый, кудрявый, с толстыми ляжками и предплечьями, в огромных башмаках — и сказал: — Этот синьор имеет в виду воню, что шла из коридора. — Но разве из коридора воняло? — сказала я.

— Как так? Невероятно! — воскликнул Большой Ломбардец. — Вы не чувствовали?

А катанец добавил: — Этот синьор говорил о том, что от тех двоих воняло... — От тех двоих? — сказала я. — Тех, что у окошка? Разве от них воняло? Чем?

Я снова услышал мертвый, лишенный плоти голоса звук — смех крохотного старичка — и увидел, что его рот стал как щель копилки. Я увидел также больного, бесстрастного в своей молчаливой веселости, закутанного в шаль. Я увидел и Большого Ломбардца, почти неистовствующего, но с весельем в глазах, которые казались мне голубыми глазами отца.

Тогда я понял, что это за воню, и рассмеялся.

— Ах, воню! — сказал я. — Воню!

Все успокоились, радостно удовлетворенные, но в коридоре были те двое, и они возвращались туда, где жили детьми, по своим деревьям.

— Странно, — сказал я. — Нет в мире места, где на них смотрели бы так косо, как в Сицилии... И все-таки по всей Италии этим ремеслом занимаются почти что одни сицилийцы.

— Одни сицилийцы? — воскликнул Большой Ломбардец.

— В самом деле, — сказал я. — Вот уже пятнадцать лет как я кочую по Италии... Жил во Флоренции, жил в Болонье, в Турине, теперь живу в Милане, и где бы я ни встречал сицилийца, он занимался этим ремеслом.

— Да, то же самое говорит мой двоюродный брат, а он много ездит, — заметил катанец. А Большой Ломбардец сказал:

— Да оно и понятно! Мы народ угрюмый...

— Угрюмый? — спросил я и посмотрел на старичка с веселым лицом и с глазами, искрившимися весельем.

— Очень угрюмый, — сказал Большой Ломбардец, — даже мрачный. Всё готовы видеть в черном свете, все до одного.

Я глянул на личико старика и не ответил, а Большой Ломбардец продолжал:

— Всегда надеемся на что-то другое, лучшее, и никогда не верим, что оно нам достанется... Всегда мы в унынии, всегда не в духе... И всегда у нас в крови соблазн наложить на себя руки.

— Да, это верно, — сказал катанец серьезно. И стал созерцать носки огромных башмаков.

А я, не отрывая глаз от личика старика, сказал: — Может быть, это и верно... Но что тут общего с их ремеслом?

— Думаю, что-то общее есть, — сказал Большой Ломбардец. — Думаю, что есть. Не знаю, как объяснить, но думаю, что есть... Что делают, когда махнут на себя рукой? Когда готовы выбросить себя на помойку, как пропащего? Занимаются тем, что сами больше всего ненавидят... Думаю, в этом дело... Думаю, понятно, почему они почти все сицилийцы.

VII

Потом Большой Ломбардец рассказал о себе: он ехал из Мессины, был там на осмотре у специалиста по своей почечной

болезни, а теперь возвращается домой, в Леонфорте, он из Леонфорте, это высоко в Валь Демоне, между Энной и Никозией, там у него земельные владения и три красивых дочки-женщины, он так и сказал: красивых дочки-женщины, и есть еще конь, на котором он объезжает свои земли и воображает себя — такой это высокий и гордый конь, — воображает себя королем, но сам думает, что не все дело в этом: воображать себя королем, когда сидишь в седле; нет, ему хотелось приобрести другое знание, он так и сказал: другое знание, и почувствовать себя другим, чтобы в душе было что-то новое, он бы отдал все, что имеет, даже коня и земли, чтобы больше чувствовать себя в мире с людьми, как тот, он так и сказал: как тот, кому не в чем упрекнуть себя.

— Не то что я могу упрекнуть себя в чем-нибудь особенном, вовсе нет. Да я и не о том, о чем говорится в исповедальне... Но мне все кажется, что между мною и людьми нет мира.

Ему хочется, чтобы совесть была свежей — он так и сказал: свежей — и чтобы она ему велела исполнять другой долг, не обычный, а другой, новый, более высокий долг перед людьми, потому что, исполняя обычный свой долг, не чувствуешь удовлетворения, как будто ничего и не сделал, остаешься недовольным собой и разочарованным.

— По-моему, человек созрел для другого, — сказал он, — не только для того, чтобы не красть, не убивать, быть добрым гражданином и прочее... По-моему, он созрел для другого, созрел для новых обязанностей. Это мы и ощущаем, по-моему: отсутствие другого долга, других обязанностей... Тех, которые нужно выполнить для нашей же совести совсем в новом смысле.

Он смолк, и заговорил катанец:

— Да, с и н ь о р ! — Он глядел на огромные носки своих башмаков. — Да. По-моему, вы правы.

Он все глядел на свои башмаки, полнокровный, пышущий здоровьем, но печальный, как могучее животное — конь или бык, когда они неудовлетворены; и он снова сказал «да», уверенно, убежденно, как будто ему точно назвали его болезнь, и больше он ничего не говорил, не рассказал о себе, только добавил, спросил: — Вы учитель? — Я — учитель? — воскликнул

Большой Ломбардец.

Рядом с ним опять послышалось шелестение сухого листа — «хи-хи» маленького старика, лишенное плоти голоса. Похоже было, заговорила иссохшая былинка.

— Х и , — издал он з в у к . — Х и . — Два раза. А глаза у него были ясные, искрящиеся смехом на шафранного цвета лице, темном, как сухой черепаший панцирь. — Х и ! — вылетело у него изо рта, похожего на щель копилки.

— Нечему смеяться, дедушка, нечему смеяться, — сказал, повернувшись к нему, Большой Ломбардец и стал рассказывать все сначала: о себе, о своей поездке в Мессину, о своих участках выше Леонфорте, о своих трех дочках-женщинах, одна другой красивее — так он сказал на этот р а з , — о своем высоком, гордом коне и о себе, о том, что не чувствует между собою и людьми мира, и потому, он думает, нужны новая совесть, новый долг и обязанности, чтобы чувствовать себя в мире с лю д ь м и , — все это на сей раз исключительно для маленького старичка, который глядел на него и смеялся, повторял свое «хи» — звук вроде начала свиста, лишенный плоти г о л о с а . — Но что это в ы , — сказал внезапно Большой Ломбардец, — что это вы сидите так неудобно? Ведь его можно поднять.

И он откинул деревянный подлокотник, к которому, сидя на краешке, приткнулся старик.

— Его можно поднять, — сказал Большой Ломбардец.

Старичок оглянулся, посмотрел на откинутый деревянный подлокотник, снова раза два издал свое «хи», но остался сидеть так же неудобно, на тычке, держась шафрановыми ручками за узловатую палку почти с него высотой, с наконечником в виде змеиной головы.

Как раз когда он обернулся и посмотрел на подлокотник, я увидел змеиную голову и что-то зеленое в пасти змеиной головы — три листочка с апельсинового дерева, — и старичок меня заметил, опять издал свое «хи», вынул апельсиновую веточку, сунул ее в рот, в щель ко п и л к и , — у него и самого была змеиная голова.

— Ах, по-моему, в этом-то и все дело, — сказал Большой Ломбардец, обращаясь теперь ко всем вместе. — Исполнять

свой долг, свои обязанности — это не приносит удовлетворения. Мы их выполняем, но это нам безразлично. Нам все равно плохо. По-моему, в этом все дело... Потому что и долг, и обязанности слишком стары, слишком стары и сделались слишком уж легкими, они ничего не значат для совести.

— Вы и правда не учитель? — сказал катанец.

Он был полнокровен, как бык, и с бычьей грустью смотрел все время на свои башмаки.

— Я — учитель? — сказал Большой Ломбардец. — Разве я похож на учителя? Я неуч; могу прочесть книгу, если хочу, но я не учитель. Мальчишкой я был у салезианцев *, но я не учитель...

Так мы подъехали к последней перед Катанией станции, уже в предместье большого города из черного камня, и старичок, издававший звук сухой былинки, сошел; потом мы приехали в Катанию, черный камень улиц освещало солнце, они проплывали мимо, прямо под нашим поездом, улицы, дома, черный камень, потом мы прибыли на станцию Катания, и катанец сошел, и Большой Ломбардец тоже сошел, и, высунувшись из окошка, я увидал, что и Усатый с Безусым тоже сошли.

Короче говоря, сошел весь поезд, и только освещенные солнцем пустые вагоны продолжали путь, и я спросил себя, почему не сошел со всеми.

Во всяком случае, у меня был билет до Сиракуз, я продолжал путь в пустом вагоне, под солнцем, через пустынную равнину. А вернувшись из коридора в купе, я с удовлетворением обнаружил на том же месте закутанного в шаль желто-воскового юношу с легкой матерчатой шапкой на голове. С ним рядом, глядя на него и встречая его взгляд, без единого слова, но радуясь тому, что мы вместе, я ехал и ехал дальше, под солнцем по пустынной равнине, пока она наконец не покрылась малярийной зеленью и мы не прибыли в Лентини, у подножья длинных склонов, зеленевших апельсинами и малярией, и юноша, закутанный в шаль, сошел и задрожал от холода на солнце, на пустом тротуаре, изглоданный малярией.

* Конгрегация, занимавшаяся обучением детей бедноты.

Я остался один. Равнина была скалистой до самых Сиракуз у берега моря, потом я поднял глаза и увидел Безусого, стоявшего в коридоре и смотревшего на меня.

VIII

Он улыбнулся мне. Безусый стоял в коридоре против солнца, за плечами — скалистая равнина и море, и мы двое, я и он, были одни во всем вагоне, может быть, и во всем поезде, бежавшем через пустынную равнину.

Его безусое лицо курильщика сигар улыбалось мне, и вот уже весь он, толстый, в баклажанного цвета пальто и такого же цвета шляпе, ввалился и уселся.

— Вы позволите? — спросил он.

— А как же, — ответил я. — Черт возьми.

Он был доволен, получив разрешение сесть, доволен не тем, что сидит — весь вагон был к его услугам, — а тем, что сидит там же, где я, где есть еще один человек.

— Мне казалось, я видел, как вы сошли в Катании, — заметил я. — Ах, вы меня видели? — сказал он, довольный. — Я проводил друга до поезда на Кальтанисетту и вскочил в последнюю минуту. — Вот оно что! — сказал я. — Я сел в последний вагон. — Вот оно что! — сказал я. — Едва успел... — Вот оно что! — сказал я. — Между нами были вагоны первого и второго класса, — сказал он, — мне пришлось остаться там, а мой багаж — здесь.

И я сказал: — Вот оно что! — А в Лентини я сошел и вернулся сюда. — И я еще раз сказал: — Вот оно что!

Он больше ничего не добавил, замолчал на мгновение, довольный, удовлетворенный тем, что все объяснил. Потом вздохнул, улыбнулся и сказал: — Я беспокоился за багаж... — Конечно, — сказал я. — Всякое бывает... — Ведь правда? — сказал он. — Всякое бывает... Особенно когда кругом вертятся такие рожи. — Да, — сказал я. — С такими рожами... — Вроде того, что сошел в Лентини, — сказал он. — Вы его видели?

— Кто? — спросил я. — Этот закутанный?

— Да, — сказал он. — Тот, закутанный... Разве у него не лицо преступника?

Я не ответил, он вздохнул, огляделся вокруг, прочел все эмалированные таблички в купе, потом стал смотреть на равнину, пустынную, покатуую и быструю, с неотлично-голыми скалами вдоль моря.

Потом улыбнулся и сказал: — Я служу в землемерной управе. — А! — сказал я. — Вот как! А... что вы делаете? Едете домой в отпуск? — Да, — ответил он. — Еду в отпуск. В Шакку, в деревню. — В Шакку! — сказала я. — А откуда? Издалека? — Из Болоньи, — ответил он. — Я там служу. У меня и жена родилась в Болонье. И сыновья тоже.

Он был доволен. И я сказал: — Вы едете в Шакку с этой стороны? — Да, с этой, — сказал он. — Сиракузы, Спаккафорно, Модика, Дженизи, Доннафугата... — Виттория, Фальконара, — сказала я. — Ликата... — Ха-ха-ха! — отозвался он. — Джирдженти... — Агридженто, с вашего позволения*, — сказала я. — А дорога через Кальтанисетту вам не годилась? — Конечно, годилась, — сказал он. — К тому же туда на восемь лир дешевле. Но здесь все время вдоль моря... — Вы любите море? — спросил я. — Не знаю, — сказал он. — По-моему, люблю. Во всяком случае, этот путь мне нравится.

Безусый вздохнул, улыбнулся, потом встал и сказал: — Позвольте!

Он прошел в соседнее купе и вернулся с маленькой корзиной, в каких школьники носят завтрак, но из фибры, поставил ее на колени коротких ног, вынул из нее хлеб и улыбнулся.

— Хлеб! — сказал он. — Э-э-э...

Потом вытащил длинную яичницу и снова улыбнулся.

— Омлет, — сказал он.

Я улыбнулся ему. Он перочинным ножом разрезал яичницу на две части, предложил мне кусок.

— О, спасибо, — сказал я, обороняясь от его руки, вооруженной яичницей.

Он насупился: — Как? Вы не хотите моего угощения? — Мне не хочется есть, — сказала я. Но он сказал: — Не хочется есть?

* При Муссолини этому городу было «возвращено» его древнее латинское название.

Когда едешь, всегда хочется есть.

И я сказал: — Но ведь и время еще не пришло. В Сиракузах я поем.

А он: — Ну и ладно. Начните сейчас. А в Сиракузах продолжите.

— Это невозможно. Я испорчу себе аппетит.

Он становился все мрачнее. Настаивал.

— О! Ведь я служу в землемерной управе! — повторил он. И еще сказал: — Не обижайте меня так! Возьмите, только чтобы не отказываться.

Я согласился и ел вместе с ним яичницу, и он был счастлив, и я в каком-то смысле тоже, я был доволен тем, что доставил ему удовольствие, жуя вместе с ним яичницу и пачкая в яичнице руки. Между тем мимо проплыла Аугуста с ее горой мертвых домов посреди моря, в окружении парусников и пароходов, и между солончаков приближались залитые солнцем Сиракузы, двигались по пустынной равнине вдоль моря.

— Вы еще с большим аппетитом поедите в Сиракузах, — сказал он. И добавил: — Вы приехали? — Да, приехал, — ответил я. — Вы живете здесь постоянно? — сказала он. — Нет, — ответил я. — Не живу. — И у вас никого нет в Сиракузах? — сказал он. — Нет, — ответила я. — Тогда вы едете по делам, — сказал он. — Нет, — ответила я. — Нет.

Он смотрел на меня в растерянности, жуя свою яичницу, наблюдал, как я ем его яичницу, и я сказал:

— У вас красивый голос, баритон.

Вдруг он покраснел.

— О! — сказал он. — Неужели вы этого не знали? — сказала я.

— О, знать-то я знал, — сказал он, красный и довольный.

А я сказал: — Само собой. Не могли же вы за всю жизнь так и не узнать этого. Жалко, что вы служите в землемерной управе, вместо того чтобы петь.

— Да, — сказал он. — Это мне было бы по душе. В «Фальстафе», в «Риголетто»... На всех европейских сценах.

— Да хоть бы и на улицах, какая разница. Это лучше, чем служить, — сказал я. — О, может быть, так, — сказал он.

Он смолк, немного расстроенный, и продолжал жевать молча,

а за изгибом скалистой равнины появился, на фоне моря, утес Сиракузского собора.

— Вот и Сиракузы, — сказал я.

Он поглядел на меня и улыбнулся.

— Значит, вы приехали, — заметил он.

Мы раскланялись, поезд подходил к перрону.

— Наверное, тут мне не придется ждать пересадки, — сказал он.

Я сошел в Сиракузах, в моем родном городе, откуда уехал пятнадцать лет н а з а д, — на самой важной в моей жизни станции. Снова, стаскивая свой багаж, человек, называвший себя служащим землемерной управы, одним словом Безусый, поклонился мне.

— До свидания, — сказал он. — Что же вы все-таки будете делать в Сиракузах?

Я был уже достаточно далеко, чтобы не отвечать, и, не ответив ему, двинулся к выходу и больше его не видел.

Я был в Сиракузах.

Но что мне было делать в Сиракузах? Зачем я приехал в Сиракузы? Почему я взял билет именно до Сиракуз, а не еще куда-нибудь? Ведь мне было безразлично, куда брать его. И безразлично, где быть: в Сиракузах или где-нибудь еще. Для меня все было едино. Я был в Сицилии. Посетил Сицилию. И мог снова садиться на поезд и ехать домой.

Но я узнал человека с апельсинами, Усатого и Безусого, Большого Ломбардца, катанца, старичка с голосом как сухая былинка, молодого малярика, закутанного в шаль, и мне показалось, что мне уже не безразлично, где быть: в Сиракузах или где-нибудь еще.

— Дурак, — сказал я. — Почему мне было не поехать повидаться с матерью? За те же деньги, за то же время, в горы...

И я нашел в кармане неотправленную открытку к матери с поздравлениями, вспомнил, что сегодня как раз восьмое. «Вот те н а ! — подумал я. — Бедная старуха! Если я не доставлю открытку сам, сегодня она уже не придет». И я отправился на станцию местного сообщения, чтобы узнать, хватит ли у меня денег продолжать путешествие, доехать до гор, до матери.

Часть вторая

IX

В три часа, под декабрьским солнцем, оставив позади невидимо рокошующее море, поезд — маленькие зеленые вагончики — забирался в скалистую теснину и в джунгли опунций. Это была местная железнодорожная линия, из Сиракуз в горы: Сортино, Палаццоло, Монте Лауро, Виццини, Граммикеле.

Начали проплывать мимо станции деревянные павильоны, солнце на красных фуражках начальников, джунгли расступались, смыкались, опунции были величиной с виселицу. Они были из лазурного камня, все опунции, и если встречалась живая душа, так это был мальчик, который шел вперед или назад вдоль рельсов и собирал утыканые колочками плоды, которые росли кораллами на камне опунций. Он кричал что-то проходящему мимо поезду.

В пещерах леса гудел ветер; на остановках, как прежде море, слышалось мелкое хлопанье ткани на ветру. Потом развевался лоскут красного флажка, поезд прибывал, отходил. Между опунций показывались дома; вагоны останавливались над аркадами моста, а от моста шла лестница крыш; проезжали через тоннель, снова оказывались среди опунций и обломков скал, не видно было ни живой души, кроме мальчика.

Он кричал, кричал проходящему мимо поезду, и солнце стояло над его криком, над красными флажками, над красными фуражками начальников станции.

Но вдруг красная фуражка, красный флажок, крик мальчика лишились солнца, под опунциями стемнело, зажегся свет. Серый ослик перебирался через брод, мы поднимались, проезжали через тоннели, показались долгие хребты гор, а на остановках, в глубине впадин, — пять-шесть огней: деревня.

Потом послышался шум горной реки, и голос сказал: «Вот мы и в Виццини». И шум реки стал неподвижным, остановился ниже колес прибывшего на место поезда, я спустился вдоль русла в темноте, с одной стороны была гора, с другой — небо.

Это было Виццини; тут провел я ночь, в комнате гостиницы, пахнувшей сладкими рожками. Туда, куда мне нужно, не было автобуса, и мне хотелось спать после двух ночей, и было холодно, и было все равно, что я пропустил автобус, мне важно было только заснуть, и я спал как убитый в запахе сладких рожков. Проснувшись наутро, я сам был весь из этих рожков, до того пропитал меня их запах. Свет бил в окошки без ставен, и я отправился, все еще как во сне, на автобусе из Верхнего Виццини через три долины выше в горы и ехал три часа подряд, пока кто-то не сказал: «Снег!» — и мы не прибыли.

«Поди ж ты! К матери приехал!» — подумал я, выходя из автобуса у начала длинной лестницы, поднимавшейся к верхним кварталам деревни.

Название деревни было написано на стене, как на тех открытках, которые я ежегодно посылал матери, и все остальное: эта лестница между старыми домами, горы вокруг, пятна снега на крышах — предстало перед моими глазами точно таким, каким — я вдруг вспомнил это — уже являлось мне раз или два, еще в детстве. И мне показалось, что быть здесь для меня небезразлично, я был доволен, что добрался сюда, не остался в Сиракузах, не уехал поездом в Северную Италию, что мое путешествие не кончилось. Это и было самым важным в моем пребывании здесь: путешествие не кончилось, может быть даже оно только начиналось; по крайней мере, так я чувствовал, глядя на длинную лестницу, на дома и купола наверху, на скаты крыш и скалы, на кровли внизу, в долине, на дым над немногими трубами, на пятна снега, на солому, на стайку сицилийских ребятишек, бегавших босиком по земле, покрытой ледяной коркой, под солнцем, вокруг чугунного источника.

Х

«Поди ж ты! К матери приехал!» — подумал я снова; оказаться здесь было для меня так же неожиданно, как неожиданно оказываешься в прошлом, воскрешенном любимым из воспоминаний, и так же сказочно, и мне представлялось, что путешествие мое совершается теперь в некоем четвертом измерении. Казалось, от прибытия в Сиракузы до прибытия сюда не

было ничего или был сон, душевный промежуток, а здесь я очутился в результате одного только внутреннего решения, движения памяти, а не тела, и оно же дало мне это утро здесь, а не где-нибудь еще, и холод горной местности, и удовольствие быть тут; я даже не огорчился, что не успел приехать накануне, точно в день материнских именин, как будто этот яркий свет был светом восьмого, а не девятого числа или какого-нибудь дня в четвертом измерении.

Я знал, что мать живет в верхних кварталах, помнил, как мы взбирались по этой лестнице, когда в детстве меня возили к дедушке и бабушке, и стал подниматься. На ступеньках перед некоторыми домами лежали вязанки дров, я шел вверх, кое-где мне попадались полоски снега, и по холоду, под утренним, теперь уже почти полуденным солнцем я оказался наконец наверху, над необъятным горным ландшафтом и долинами в пятнах снега. Людей не было видно, только босоногие ребятишки с обмороженными ступнями, я стал кружить между домов, пробираясь вверх, обходя купола большой церкви Богородицы, такой же старой, как в моих воспоминаниях.

Я шел с открыткой в руке, на ней было написано название улицы и номер дома, где жила мать, и я мог идти не блуждая, ведомый в поисках открыткой, как почтальон, и немного — памятью. Потом, у какой-то лавки, заставленной мешками и бидонами, я надумал задать вопрос и так прибыл с визитом к синьоре Кончецьоне Феррауто, собственной матери, разыскав ее, как почтальон, с помощью поздравительной открытки в руке и имени на губах. Дом был последний на указанной мне улице, под ним — садик, спереди — наружная лестница. Я поднялся в ярком свете солнца, еще раз посмотрел адрес на открытке и оказался у матери; я узнал порог — и мне не было безразлично оказаться здесь, это был самый полный миг в путешествии по четвертому измерению.

Я толкнул дверь и вошел в дом, голос из другой комнаты спросил: «Кто там?» Я узнал этот голос, после того как пятнадцать лет не вспоминал его, и теперь он был таким же, как пятнадцать лет назад: высокий, светлый, и я вспомнил, как в детстве мать говорила со мною из другой комнаты.

— Синьора Кончецьоне, — сказал я.

XI

Синьора появилась, высокая, светлоголовая, и я узнал мать — высокую женщину с каштановыми, почти русыми волосами, твердым подбородком, резко очерченным носом и черными глазами. Плечи она укутала красным одеялом, чтобы согреться.

Я засмеялся: — Ну что ж, примите мои поздравления!

— Да это Сильвестро! — сказала мать и подошла ко мне.

Я запечатлел у нее на щеке сыновний поцелуй, и она поцеловала меня в щеку, сказав: — За каким дьяволом ты попал в эти края? — Как ты меня узнала? — сказал я.

Мать смеялась: — Я сама себя спрашиваю. — Запахло поджариваемой селедкой, и мать добавила: — Пошли в кухню, у меня селедка на огне.

Мы пошли в соседнюю комнату, где солнце падало на спинку кровати из темного железа, и оттуда в маленькую кухоньку, где солнце падало на все. На полу, за деревянной скамеечкой, горела медная жаровня. Селедка жарилась на ней и чадила, мать нагнулась, чтобы перевернуть ее.

— Посмотришь, как вкусно, — сказала она.

— Да, — сказал я, вдыхая запах селедки, и мне не было все равно, мне нравилось узнавать запах кушаний моего детства. Я сказал: — Думаю, ничего вкуснее нет на свете. — И спросил: — А мы ее ели, когда я был маленький? — Еще бы! — сказала мать. — Селедку зимой и перцы летом. Мы всегда так ели. Не помнишь? — И бобы с артишоками, — сказала я, вспоминая. — Да, — сказала мать, — бобы с артишоками. Ты с ума сходил по бобам с артишоками. — А, — сказал я, — с ума сходил?

И мать сказала: — Да, тебе всегда хотелось еще тарелку... И то же самое, когда была чечевица с луком, с сухими помидорами и салом...

— И еще с веточкой розмарина, правда? — сказал я.

И мать сказала: — Да, и с веточкой розмарина.

А я сказал: — Так я и чечевицы хотел еще одну тарелку?

А мать сказала: — Еще бы! Ты был как Исав... Ты бы отдал первородство за вторую тарелку чечевицы... Как сейчас вижу:

ты возвращаешься из школы в три, в четыре часа, поездом...

— Да, — сказал я, — товарным поездом, в багажном вагоне... Сперва я один, потом с Феличе, потом с Феличе и Либорио...

— Вся стая в воробьев, — сказала мать. — Головы заросшие, физиономии черные и руки всегда черные... И сейчас же спрашивали: у нас сегодня чечевица, мама?

— Да, в этих путевых домиках, где мы жили, — сказал я. — Мы сходили с поезда на станции, в Сан-Катальдо, в Серради-фалько, в Аквавиве, во всех тех местах, где мы кочевали, и до дому надо было пройти еще один-два километра пешком...

— Да, — сказала мать, — а иногда и три. Поезд проходил, и я уже знала, что вы идете домой вдоль линии, и ставила греть чечевицу, жарить селедку, а потом слышала, как вы кричите: земля, земля! — Земля? Почему земля? — спросил я.

— Да, точно, земля. Вы во что-то играли, — сказала мать. — А один раз, в Ракальмуто, путевой дом был на подъеме, поездам приходилось сбавлять скорость, и вы научились прыгивать на ходу, прыгивали перед самым домом, а мне было страшно, что вы попадете под колеса, я вас ждала перед домом с поленом... — И колотила нас? — спросил я.

— Еще бы! А ты не помнишь?.. Я вам готова была ноги перешибить этим поленом. И еще оставляла вас без обеда иногда.

Она выпрямилась, держа селедку ближе к хвосту, и осмотрела ее с одной стороны, потом с другой; и, вдыхая запах селедки, я увидел, что на лице ее ничего не убыло с тех пор, как лицо это было молодым, таким, каким я теперь его вспоминал, что возраст даже прибавил что-то. Вот она, моя мать: и воспоминание о ней же пятнадцать, двадцать лет назад, когда она ждала нашего прыжка с поезда, молодая и грозная, с поленом в руке, воспоминание через весь срок нашей разлуки — и мать сейчас, дважды реальная. Подняв селедку, мать осматривала ее, одну сторону, другую: нигде не пригоревшая, равномерно поджаренная, она также была и воспоминанием, и этой сегодняшней селедкой. И так во всем: воспоминание и тот же предмет сейчас, солнце, холод, медная жаровня посреди кухни, новое обретение моим сознанием той точки на земле, где я сейчас находился; так со всем — каждый предмет был дважды реален, и, может

быть, мне потому и не было безразлично чувствовать себя здесь, путешествовать, что все было удвоенно истинным: и само путешествие от Мессины на юг, и апельсины на пароме, и Большой Ломбардец, и Усатый с Безусым, и зеленая малярня, и Сиракузы, — словом, сама Сицилия; все было дважды реальным и — пока я путешествовал — находилось в четвертом измерении.

ХII

Селедка была почищена, положена на тарелку, полита маслом — и мы с матерью сели за стол. Сели в кухне, где солнце било в окно из-за спины матери, закутанной в красное одеяло, со светло-каштановыми волосами. Стол был у стены, мы с матерью сидели друг против друга; под столом — жаровня, на столе — тарелка с селедкой, почти до краев налитая маслом. Мать кинула мне салфетку, протянула маленькую тарелку и вилку, вытащила из ящика остававшиеся полкаравая хлеба.

— Ничего, если я не буду стелить скатерть? — спросила она.

— Ничего, — сказал я.

— Не могу теперь стирать каждый день... Я уже старая.

Но и во времена моего детства всегда ели без скатерти, кроме как по воскресеньям и по праздникам, и всегда мать говорила, что не может стирать каждый день, — я это помнил. Принявшись за селедку с хлебом, я спросил: — А почему нет супа?

Мать посмотрела на меня и сказала: — Откуда я знала, что ты приедешь?

И я посмотрел на нее, спросил: — Я говорю о тебе. Ты никогда не варишь для себя супа?

— Ты обо мне? — спросила мать. — Но я почти никогда и не ела супа... Готовила для вас и для отца, а моя еда всю жизнь была такая: селедки зимой, жареные перцы летом, побольше масла, побольше хлеба. — Всегда одно и то же? — спросил я.

— Всегда, а как же? — сказала мать. — Ну еще, конечно, маслины, иногда свинина, сосиски, если был поросенок...

— Если был поросенок? — переспросил я. — Да, а ты не помнишь? — сказала мать. — Было несколько лет, когда мы держали поросенка, в путевых домах, его откармливали опунциями, а потом резали.

Тут я вспомнил равнину вокруг путевого дома, рельсовую колею, опунции и визг поросенка. «В путевых домах неплохо жилось», — подумал я. Вся эта равнина, чтобы бегать по ней, а не обрабатывать, никаких крестьян, только несколько овец да еще люди с серных копей, которые возвращались по ночам, когда мы уже ложились. Там жилось хорошо, подумал я и спросил: — Мы и цыплят держали?

Мать сказала, что да, немного, конечно, но держали. И я сказал: — Мы и горчицу делали...

А мать сказала: — Все мы делали... Сушили помидоры на солнце... Пирожки из опунций...

— Нам неплохо жилось, — сказал я то, что думал, думая о помидорах, которые сушились на солнце летом, посреди равнины, где ни живой души. Равнина была сухая, цвета серы, и я вспомнил громкое летнее жужжание и переливавшееся через край безмолвие и снова подумал, что там хорошо жилось.

— Нам неплохо жилось, — сказал я. — У нас были металлические сетки.

— Ведь места-то были малярийные, — сказала мать.

— Какая огромная малярия, — сказал я.

А мать сказала: — Вот уж верно, огромная.

— И цикады... — Я вспомнил о зарослях с цикадами за металлическими сетками на окнах, дальше веранды, в залитой солнцем пустоте. — Я думал, малярия — это цикады. — Ха-ха-ха, — засмеялась мать. — Наверно, поэтому ты их столько и ловил. — Я ловил их? — сказала я. — Но ведь я думал, что малярия — это их пение, а не они сами. Значит, я их ловил? — Еще бы! — сказала мать. — По двадцать — тридцать штук зараз.

А я сказал: — Кажется, я ловил их, потому что принимал за кузнечиков. — И спросил: — А что я с ними делал?

Мать снова засмеялась: — По-моему, ты их ел. — Ел! — воскликнул я. — Да, — сказала она, — и ты, и все братья.

Она смеялась, а я был в замешательстве.

— Как это могло быть? — спросил я. И мать сказала: — Наверно, голодные были. — А я сказал: — Голодны? — А мать сказала: — Наверно! — Но как же, ведь мы там, у себя дома, жили хорошо, — возразил я.

Мать посмотрела на меня. — Да, — сказала она, — отец получал деньги в конце каждого месяца, и тогда десять дней мы жили хорошо, нам завидовали все крестьяне и все на серных копях... А через десять дней мы становились как они. Ели улиток.

— Улиток? — спросил я. — Да, и дикий цикорий, — сказала мать. А я сказал: — Они ели одних улиток? — И мать сказала: — Да, бедняки постоянно едят одних улиток. А мы после десятого числа каждого месяца становились бедняками. — И двадцать дней ели улиток? — Улиток и дикий цикорий.

Я задумался об этом, улыбнулся, потом сказал: — В конце концов, я думаю, они тоже были вкусные.

А мать сказала: — Очень. Их ведь тоже можно приготовить по-разному. — Как по-разному?

— Просто сварить, например. Или с чесноком и помидорами. Или посыпать мукой и изжарить.

А я сказал: — Вот странно! Посыпать мукой и пожарить? С домиками? — А мать сказала: — Ну конечно! Их, когда едят, высасывают из домиков. Не помнишь? — А я сказал: — Помню, помню... По-моему, весь smak в том, чтобы высасывать... — И мать сказала: — Так можно высасывать часами...

ХIII

Мы помолчали две-три минуты, молча ели селедку, потом мать снова заговорила, объяснила мне еще несколько способов, как готовить улиток. Она сказала, что я смогу научить жену. Но я сказал, что жена не готовит улиток. Мать спросила, что она готовит вообще, и я рассказал, что обычно это мясной бульон.

— Бульон? Какой бульон? — воскликнула мать. — Мясной, — сказал я. — Мясной? Из какого мяса? — воскликнула мать. — Из говядины, — сказал я.

Мать взглянула на меня с безгловым видом. Спросила, какой у него вкус. Я ответил, что никакого особого вкуса нет, просто лапша в бульоне. — А мясо? — спросила меня мать.

И я сказал ей, что, по правде, когда съешь бульон, мяса обычно не остается. Словом, я ей все объяснил: и про морковку, и про сельдерей, и о той кости, которую принято называть мясом, — все досконально, чтобы она поняла, насколько лучше жи-

вут в Северной Италии, чем в Сицилии, по крайней мере в городах, где худо ли, хорошо ли, а едят как люди.

Мать все еще смотрела на меня с брезгливостью.

— О х , — воскликнула она . — Каждый день одно и то же?

А я сказал : — Конечно! Не только по воскресеньям и по праздникам. По крайней мере, пока есть работа и заработок.

Мать была немного обескуражена.

— Каждый день! И тебе не надоедает? — сказала она.

— А тебе не надоедает селедка? — сказал я.

— У селедки есть вкус , — сказала мать. И принялась рассказывать мне обо всех селедках, которые, по ее мнению, съела за свою жизнь, и сказала, что эта способность есть без конца селедку у нее от отца, от моего деда . — По-моему, в селедках есть что-то полезное для мозгов , — сказала она . — И еще от них цвет лица хороший . — Она подкрепила свою мысль о благотворных свойствах селедок для человека и отправлений его организма, объявив, что мой дед, наверно, был великим человеком благодаря селедкам.

— А мой дед был великим человеком? — спросил я. Я смутно помнил, что в самом раннем детстве вырастал под чьей-то тенью; должно быть, это была тень величия моего деда. И я спросил : — А мой дед был великим человеком?

— А как же! Неужели ты не з н а л ? — сказала мать.

Я ответил, что знал, конечно, но спросил, что он сделал великого, и мать закричала, что он был великим во всем. Он родил рослых, красивых дочерей, трех дочерей-женщин, кричала она, и он своими руками построил дом, в котором она теперь живет, хотя не был каменщиком.

— Он был великий человек , — сказала она . — Мог работать по восемнадцать часов в сутки, и был великий социалист, великий охотник и великий наездник, когда бывало шествие на святого Иосифа . . . — Он участвовал в конном шествии на святого Иосифа? — сказал я.

— Еще бы! Он был великий наездник, самый ловкий во всей деревне, да и во всей Пьяцце Армерине , — сказала мать . — Неужели, по-твоему, в процессии могли обойтись без него?

А я сказал : — Но ведь он был социалист.

А мать сказала: — Да, социалист. Он не умел ни читать, ни писать, но в политике разбирался и стал социалистом.

А я сказал: — Но как же он мог ехать за статуей святого Иосифа, если был социалистом? Социалисты в святого Иосифа не верят...

— Какой ты въедливый! — сказала тогда мать. — Твой дед был не такой социалист, как все. Он был великий человек. Мог верить в святого Иосифа и быть социалистом. У него в мозгу умещалась тыща разных вещей... А социалистом он был, потому что разбирался в политике... Но мог верить в святого Иосифа... Он против святого Иосифа ничего не говорил.

— Но священники не очень-то его жаловали, я думаю, — сказал я. И мать: — Ему-то какое дело было до священников?

А я сказал: — Но ведь шествие устраивают священники!

— Много ты знаешь! — воскликнула мать. — В шествии участвуют кони и верховые. Это была конная процессия. — Она встала и подошла к окну, и я понял, что нужно пойти за нею. — Смотри, — сказала она. Окно выходило на крыши по склону и дальше на долину, на реку и на леса под зимним солнцем, на горы напротив, со скалами в снегу. — Смотри, — сказала мать, и я увидел с особой ясностью крыши с трубами без дыма, реку, рощи рожковых деревьев, пятна снега — с особой ясностью, потому что они были дважды реальны. А мать сказала: — Конная процессия начиналась тут, напротив, и двигалась вон к тому телеграфному столбу... На той горе есть церковка, ее отсюда не видеть, так ее освещали изнутри и снаружи, она делалась как звезда, и шествие отъезжало от церкви с фонарями и бубенцами, спускалось с горы. Конечно, только ночью. Фонари виднелись издали, и я знала, что там, во главе, мой отец, великий наездник, и все ждали на нижней площади или на мосту. Шествие въезжало в рошу, фонарей больше не было видно, только бубенчики слышны. Лишь много спустя процессия выезжала из-за деревьев у моста, с фонарями, с бренчанием бубенцов, и он во главе, как будто чувствовал себя королем.

— Кажется, я помню, — сказал я, и действительно, мне казалось, что я видел нечто подобное, может быть, во сне: перезвон бубенцов на конях и огромная звезда на горе напротив,

в ночной тьме; но мать сказала: — Ни черта ты не помнишь. Ты видел шествие всего один раз, да и то в три года.

И я вновь оглядел ту Сицилию, что была за окном, потом мать — с головы до ног, закутанную в красное одеяло; и я заметил, что на ногах у нее мужские башмаки — старые отцовские башмаки путевого обходчика, высокие и, может быть, подбитые гвоздями: у нее была привычка всегда носить такие дома, ради большего удобства или чтобы чувствовать в себе нечто от мужчины, ощущать себя немного мужчиной, его ребром.

XIV

Мы вернулись за стол, и так как я только молча глядел на нее, она сказала: — Что ты на меня смотришь?

И я сказал: — А что, нельзя? — Ладно, — сказала мать, — смотри сколько хочешь, только доедай скорее.

Я отрезал еще ломоть хлеба, черствого, с белой коркой, как будто плохо выпеченного, и потом сказал: — Что это отцу на старости лет взбрело в голову уйти с другой женщиной?

Мать, по-видимому, была удивлена и даже обижена, но при этом казалось, будто на каждое мое слово у нее готов ответ.

— Откуда ты знаешь? — крикнула она.

— Он сам мне написал, — сказал я.

— А, трус, — крикнула мать. — Написал тебе, что увидел другую женщину и бросил меня, ушел с нею?

Я ответил, что да, так я понял, и она опять закричала:

— Ну какой трус!

А я сказал: — Почему? Разве это неправда?

А она сказала: — Как это может быть правдой? Ты что, не помнишь, какой он был трус? — Трус?

— Ну да, — выкрикнула мать, — он даже когда побьет меня, потом, бывало, плачет и просит прощения...

— О! — воскликнул я. — Значит, он сожалел...

— Сожалел! — вскричала мать. — Как будто я не могла защищаться и ему от меня не попадало! Может, он об этом сожалел?

Я засмеялся. «Ха-ха-ха!» — смеялся я и вспоминал их: отца,

стройного, как мальчик, с голубыми глазами, и ее, грузную, сильную, в башмаках, — как они сцеплялись, озверев, и били друг друга, били все вокруг, пинали стулья, колотили кулаками по стеклам, палками по столам, а мы смеялись и хлопали в ладоши. «Ха-ха-ха!» — смеялся я, а мать сказала:

— Ты понимаешь, какой он был трус? И когда я рожала, он плакал. У меня были боли — и я не плакала, а он плакал! Хотела бы я видеть своего отца на его месте.

— Я думаю, ему было жалко смотреть, как ты страдаешь, — сказал я. — Жалко! — вскричала мать. — Чего ему было жалеть? Ведь не умирала же я! Лучше бы он подал мне руку помощи, чем плакать...

А я сказал: — Что он мог сделать?

А мать: — Как так что мог сделать? Ты что, ничего не делаешь, когда твоя жена рождает? — Ну, держу ее...

— Видишь, значит, что-то ты делаешь, — сказала мать. — А он даже не держал меня... Мы жили одни, в пустынных местах, надо было столько сделать, нагреть воды, а он ничего не умел, кроме как плакать. Или бежал к ближайшему путевому дому, чтобы позвать женщин оттуда... Это-то ему нравилось, когда в доме бывали другие женщины. Но они никогда не приходили сразу, а мне нужна была помощь, я кричала: помоги мне, поддержи меня, поводи по комнате, а он только плакал. Не хотел видеть... — А! — воскликнул я. — Не хотел видеть?

Мать взглянула на меня искоса.

— Да, не хотел видеть, — сказала она. Потом добавила: — По-моему, вы видели больше его. Вы выходили...

Я перебил ее: — Видели больше его?

И мать сказала: — Да, вам-то хотелось увидеть. Вы выходили на лестницу перед вашей комнатой и становились рядом с ним, только он глаз не поднимал, а вы глядели в оба. Вы смотрели, как он плачет, как я пытаюсь ходить и держусь за мебель, тогда я кричала ему, чтобы он выставил вас вон, а он даже этого сделать не мог... Хотела бы я видеть своего отца на его месте.

— Твоего отца? — сказал я.

— Конечно! — выкрикнула мать. — Он был великий человек, великий наездник, он был крестьянин, мог мотыжить землю по

восемнадцать часов в сутки, у него-то хватало храбрости делать все самому, когда мама рожала... Вот я и хотела бы видеть его на месте твоего отца. Я велела ему выставить вас вон, а он ничего: слов не понимал, не поднимал глаз, боялся смотреть. Я называла его трусом, я говорила, чтобы он подержал меня, ведь у меня боли. А он знаешь что мне говорил? Он говорил: подожди, пока придут.

— Кто должен был прийти? — сказал я.

— Он говорил о женщинах, за которыми ходил... Но женщины не всегда поспевали вовремя, и однажды я почувствовала, что головка ребенка уже прорезалась, это был третий, я бросилась на кровать и говорю ему: беги сюда, пошел!

— А мы смотрели? — сказал я.

И мать сказала: — Конечно. Ведь он вас не выставил. Вас было только двое, оба очень маленькие, и ты, и Феличе: тебе два с половиною годика, Феличе полтора; это был третий ребенок... Я почувствовала, что прорезается головка...

— А мы все смотрели? — сказал я.

— Ну да! И новорожденный смотрел, ведь головка была снаружи и глазки открыты, такой красивый младенец, я орала отцу, чтобы он бежал ко мне и вытащил его. И знаешь, что он сделал? Поднял руки к небу и стал взывать к богу, как будто декламировал эти свои трагедии... — О х , — сказала я.

— Да, вот как он сделал. А ребенок смотрел на меня, личико у него становилось лиловым, это был такой красивый младенец, я не хотела, чтобы он оказался удушенным.

— Я думаю, тут кто-нибудь подоспел, — сказал я.

— Как бы не так! Было два часа ночи, никто не пришел. Но я хватанула с тумбочки бутылку воды — уж очень я разозлилась! — и швырнула ее твоему отцу в голову.

— И попала? — сказал я.

— А как же, ведь рука у меня меткая. Попала, и он уразумел, что надо мне помочь. И помог: вытащил ребенка целым и невредимым, как будто и не он, а другой человек, но уж, конечно, больше я тужилась, у него все лицо было в крови, в поту...

— Вот видишь, значит, он не был трус, — сказал я. — Ему не храбрости не хватало, в нем было что-то такое сверх всего,

и оно вытекло вместе с кровью. — Что-то сверх всего? — воскликнула мать, глядя на опустевшую тарелку. — Что, по-твоему? Просто он был не чета моему отцу.

Потом она встала из-за стола, вышла в темную комнату за кухней, может быть, в чулан, и мне стало занятно, как легко она ходит в таких башмачищах.

XV

— Куда ты? — крикнул я ей вслед.

Голос ее ответил мне глухо, как будто из-под густого слоя пыли: — Пошла за дыней!

Я наверняка понял, что там — нежилая комната, чердачная, с низким потолком.

Я ждал, не было больше ни селедки на тарелках, ни запаха селедки в кухне. Мать вернулась с продолговатой дыней в протянутой руке.

— Видишь, какая красота? — сказала она. — Зимняя дыня.

Она улыбалась, и это было как видение: она сама и воспоминание о ней — с дыней в руке, словно по ту сторону детства, в путешествии. — У нас были еще и зимние дыни, — сказал я.

И мать сказала: — Верно. Их держала под соломой, в курятнике. А теперь они тут, на чердаке. Штук десять.

— Мы их держали в курятнике? — сказал я. — Ведь это была тайна, где ты их держишь. Нам ни разу не удалось узнать. А ты в один прекрасный день вдруг выкладывала на воскресный стол дыню. Уходила, совсем как сейчас, и возвращалась с дыней... Настоящая тайна...

И мать сказала: — Я думаю, вы везде искали. — А я сказал: — Еще бы! Будь они в курятнике, мы бы их нашли. — А мать сказала: — И все-таки они лежали там. В земле была вырыта лунка и засыпана соломой. — Ах вот оно что! — сказал я. — А мы думали, что ты их как-нибудь прячешь у себя в утробе.

Мать улыбнулась: — Так вы поэтому называли меня «мама-дыня»? — Мы называли тебя «мама-дыня»?

— Или, может быть, мамой дынь. Ты не помнишь?

— Мамой дынь! — воскликнул я.

Положенная на стол дыня медленно покатила в мою сторо-

ну, перевернувшись раз и два и показав грубую зеленую кожу с тонкими золотыми прожилками. Я наклонился понюхать ее.

— Она с а м а я ! — сказал я.

Глубокий запах исходил не только от нее — запах старый, как вино одиноких зим в горах, у одинокой рельсовой колеи, запах маленькой столовой с низким потолком в путевом домике.

Я огляделся вокруг: — Здесь ничего нет из нашей мебели?

— Мебели нет. Есть глиняная посуда, кое-какая кухонная утварь от нас. И еще одеяла, белье... А мебель мы продали, когда переезжали сюда.

— А как вы решились сюда переселиться? — сказал я.

А мать сказала: — Это я решила. Дом этот — моего отца, платить за жилье не надо. Он сам сложил его камень за камнем, по воскресеньям. Куда нам было еще переселяться?

И я с к а з а л : — Не знаю. Но ведь тут так далеко до железной дороги! Как ты могла жить, даже не видя путей?

А мать сказала: — Что мне с того, вижу я пути или нет?

А я : — Я хотел сказать: даже не слыша шума поезда?

А мать сказала: — Что мне с того, слышу я поезд или нет?

И я с к а з а л : — Я думал, тебе не все равно... Ведь это ты выходила стоять у загородки с флажком, когда проходил с о с т а в ? — Да, если только не посылала кого-нибудь из вас.

И я воскликнул: — Как? Ты иногда посылала кого-нибудь из нас?

Но ее ответ меня не интересовал. Теперь я мог вспомнить о каких-то особых отношениях между мною и поездом, о чем-то вроде диалога, как будто я с ним разговаривал, и на мгновение я почувствовал, будто силнось вспомнить вещи, которые он мне говорил, будто думаю о мире так, как научился у него во время этих наших разговоров.

И с к а з а л : — Было одно место недалеко от станции — в Серрадифалько, что ли... Мы ее не видели, но могли слышать, как товарные вагоны стучаются друг о друга при сцепке.

Я вспоминал зиму, и пустынную круглую равнину, без деревьев и без листьев, и землю, зимнюю землю, пахнущую как эта дыня, и стук вагонов.

— А мне хотелось бы услышать этот с т у к , — сказал я.

— Разрежь-ка дыню! — крикнула мать.

Я надрезал толстую кожу, и нож сейчас же вошел глубоко-глубоко. Мать принесла тем временем вино и стаканы. Вино это было как у любого бедняка, но посреди стола лежала разрезанная дыня, и мы пили ее зимний запах.

XVI

Потом я сказал: — А тогда? — Когда? — спросила мать.

— Ну тогда, — сказал я. — Что случилось с отцом тогда?

Мать, казалось, снова была задета.

— Что о нем говорить? — пробормотала она. — Мне все одно, что с ним, что без него. И если ему все одно, что со мной, что без меня, так мне до этого нет дела.

— Это правда, что он ушел с другой? — сказал я.

И мать сказала: — Черта с два ушел! Я его прогнала... Ведь этот дом мой.

А я сказал: — Господи боже! Он тебе надоел и ты его прогнала? — И мать сказала: — Ну да. Я много лет терпела; но теперь было уже слишком, этого я не могла выносить: смотреть, как он влюблен, в его-то годы. — Как так влюблен? — сказал я.

А мать сказала: — У него всегда так было с женщинами. Ему всегда нужно было, чтобы в доме были другие женщины, и распускать перед женщинами хвост... Знаешь, он писал стихи. Стихи для них. — В этом не было ничего дурного, — сказал я. — Ничего дурного? — сказала мать. — Ничего дурного, когда они смотрели на меня сверху вниз, оттого что он называл их в стихах королевами? — Он называл их королевами?

— Ну да! Всех этих грязнух: жен стрелочников, и жен начальников станций, и работниц... Королевами!

— Но они-то как узнавали, что это о них?

И мать сказала: — Да так! Если она видела, как он с ней обходителен, если он на праздник поднимал тост за самую красивую и чокался с нею, а потом, когда читал эти свои стихи, поворачивался к ней, как будто обнять хотел, — что ей еще надо было, чтобы узнать?

Я засмеялся: — Ох уж эти праздники! Эти вечеринки!

— Он был просто сумасшедший, — сказала мать. — Не мог

жить, если не устраивал шума... Каждый пять-шесть дней ему обязательно надо было что-нибудь затеять. Созвать железнодорожников со всей линии, вместе с женами и дочками, чтобы распускать перед ними хвост. Бывали времена, когда на вечеринки собирались каждый день, то у нас, то у других. Или танцы, или карты, или представления... А он самый главный на празднике, и глаза блестят...

Я мог теперь вспомнить отца, с голубыми блестящими глазами, самого главного в моем детстве, во всей Сицилии, посреди пустынных гор, вспомнил и мать, совсем не несчастную ую, — как она, хозяйка дома, обносит всех вином, лучезарная и смеющаяся, ничуть не несчастная оттого, что муж у нее так распускает хвост.

— В этом он был великий человек, — продолжала мать. — Танцевал без устали, ни одного круга не пропускал. Пластинка кончалась, он бежал сменить ее, потом возвращался, хватал какую-нибудь даму и танцевал. И умел распоряжаться кадрилию, да еще с шуточкой на каждой фразе... И умел играть на фисгармонии, и на волынке тоже. В горах не было такого волынщика, как он, и голос у него был большой, заполнял всю долину... Да, он был великий человек, как древний воин... А на коне чувствовал себя королем, это было видно. И когда конное шествие выезжало с моста, с фонарями и бубенцами, а он — ведь он чувствовал себя королем! — впереди всех, мы кричали «ура!»... Да здравствует наш отец! — мы кричали.

— О ком ты говоришь? — спросил я. — Об отце, о твоём дедушке, — сказала мать. — А ты думал, о ком я говорю? — Так ты говоришь о дедушке? Это он заводил граммофон?

— Да нет же... Это твой отец заводил граммофон и менял пластинки. Все время бегал менять пластинки. И все время танцевал. Он был великий танцовщик, великий ухажер. А когда он выбирал меня дамой и вертел меня, мне казалось, будто я снова стала маленькой девочкой. — С отцом тебе казалось, что ты стала маленькой девочкой? — сказал я.

А мать сказала: — Да нет, не с отцом, а с твоим дедушкой... Он был такой большой и высокий, стройный, с поседевшей русой бородой... — Так, значит, это дедушка танцевал?

— Твой отец тоже танцевал. Под граммофон, со всеми этими женщинами, которых приводил ко мне в дом. Слишком много танцевал... Он был рад танцевать каждый вечер. А когда мне не хотелось тащиться на вечеринку невесть куда, к какому-нибудь обходчику в дом, он глядел на меня так, будто я у него год жизни отняла. Но нам-то всегда хотелось на праздник, если он туда отправлялся...

— Кто о н ? — сказал я. — Отец или дедушка?

И мать сказала: — Дедушка, дедушка...

XVII

Мать говорила и говорила, то об отце, то о дедушке, и всякий, о ком она говорила, любой мужчина в моих мыслях непременно был вроде Большого Ломбардца.

Я не помнил дедушки, помнил только его руку, которая держала меня, трех- или пятилетнего мальчугана, и вела по улицам и лестницам той точки на земле, где он жил. Но я мог представить его себе вроде Большого Ломбардца — того рослого соседа по купе, волосатого и с русой бородкой, который там, в поезде, говорил о своей лошади, о дочках-женщинах и о другом долге.

— Я думаю, он был Большой Ломбардец, — сказал я.

Мы покончили с дыней, и мать, встав из-за стола, собирала тарелки. — Что такое Большой Ломбардец? — сказала она.

Я пожал плечами. В самом деле, я не знал, что ответить, и сказал: — Это такой человек... — Человек? — сказала мать. А я ответил: — Да, высокий, большой... Разве дедушка не был высокий? — Высокий. Так Большим Ломбардцем называют высокого мужчину?

И я сказал: — Не совсем так... Это не за рост...

А мать сказала: — Так почему ты думаешь, что он был Большой Ломбардец? — А я сказал: — Как так почему? Разве дед не был белокурый, с голубыми глазами?

И мать сказала: — Так вот что такое Большой Ломбардец? Белокурый, с голубыми глазами? Не так уж трудно быть Большим Ломбардцем!

— Л а д н о , — сказал я. — Может, нетрудно, может, и трудно.

Мать стояла у стола, скрестив руки под старыми грудями, и смотрела на меня искоса, закутанная в красное одеяло.

— Не так уж трудно быть белокурым и голубоглазым, — сказала она.

— Это-то верно, — сказал я, — но Большой Ломбардец может и не быть белокурым.

Я подумал об отце, голубоглазом, но не белокуром, и так как он тоже был вроде Большого Ломбардца, особенно в «Макбете» и в других своих ролях, в тех, что он играл на железнодорожных подмостках для обходчиков и железнодорожников, я сказал:

— Он может быть только голубоглазым.

— И что тогда? — сказала мать.

А я думал о том, каким был на самом деле Большой Ломбардец, мой сосед по купе, который говорил о новом долге, думал, скучая по нем, и мне показалось, что голубых глаз у него не было, только волос очень много.

— Вот что, — сказал я. — Большой Ломбардец — это человек с большой шевелюрой. У дедушки были густые волосы?

— Густые волосы? — сказала мать. — Нет, совсем нет. Борода у него была густая, светлая и поседевшая... А волос на макушке совсем не было... Не был он Большой Ломбардец!

— Нет, — сказал я, — все равно он был Большой Ломбардец.

А мать сказала: — Как это может быть, если ты сам говоришь, что у Большого Ломбардца должна быть большая шевелюра? У него волос было мало... — А я сказал: — При чем тут волосы? Я уверен, что дедушка был Большой Ломбардец. Наверно, он и родом был из ломбардских мест.

— Из ломбардских мест? — воскликнула мать. — Что такое ломбардские места? — И я сказал: — Ломбардские места — это места вроде Никозии. Ты знаешь Никозию?

А мать сказала: — Я о ней слышала. Это там, где пекут хлеб с орешками наверху... Но мой отец был не из Никозии.

— Есть еще много ломбардских мест, — сказал я. — Стерлинга, Троица... По всей Валь Демоне ломбардские места.

— Но дед был не из Валь Демоне. Он не был Большой Ломбардец.

А я сказал: — Есть ломбардские места и не в Валь Демоне. Аидоне — не в Валь Демоне, а место это ломбардское.

А мать сказала: — Аидоне — ломбардское место? У меня когда-то был кувшин из Аидоне. Но сам он был не из Аидоне.

— А откуда он был? — спросил я. — Наверно, из Валь Армерины. В Валь Армерине тоже есть ломбардские места.

— Он был из Пьяццы, — сказала мать. — Он родился в Пьяцце, а потом переехал сюда. Пьяцца Армерина — тоже ломбардское место?

Мгновение я помолчал, раздумывая, потом сказал: — Нет, не думаю, чтобы Пьяцца была ломбардским местом.

Мать торжествовала: — Вот видишь, он не был Большой Ломбардец!

— А я уверен, что был! — воскликнул я. — Даже родись он в Китае, он был бы Большой Ломбардец, я уверен в этом.

Тогда мать засмеялась.

— Ты упрямый, — сказала она. — Зачем тебе понадобилось, чтобы он был Большой Ломбардец?

Я тоже засмеялся, совсем коротко. Потом сказал:

— Как ты о нем говоришь, кажется, он не мог не быть Большой Ломбардец. Не мог не думать о другом долге...

Это я сказал уже всерьез, скучая по тому, с кем я познакомился в поезде, и по людям — людям, похожим на него: по отцу в «Макбете», по деду, по человеку, который был бы его образом и подобием.

— Он должен был думать о другом долге, — сказал я.

— Другом долге? — сказала мать.

И я сказал: — Он не говорил, что наш нынешний долг, наши обязанности слишком стары? Что они умерли, прогнили и исполнять их нет никакого удовлетворения?

Мать казалась растерянной. Сказала: — Не знаю. По-моему, нет.

— Он не говорил, что нужен другой долг? Новый, не тот, что мы привыкли исполнять? Он не говорил об этом?

— Не знаю, — сказала мать. — Не знаю. Ничего такого я от него не слыхала.

Тут мне снова стало казаться, что для меня безразлично —

находиться ли здесь, у матери, в путешествии, или оставаться в моем повседневном существовании, и все же, скучая по Большому Ломбардцу, я спросил: — Он был доволен собой? Был доволен собой и всем миром, мой дед?

Мать некоторое время смотрела на меня в растерянности, словно собираясь что-то сказать. Потом передумала и сказала:

— А как же иначе?

Потом снова посмотрела на меня, но я не отвечал ей, и она глядела на меня, глядела, пока не передумала снова и не сказала: — Нет, в сущности, не б ы л . — А х , не б ы л , — сказал я.

И мать сказала: — Нет, миром он был недоволен.

— А собою б ы л ? — спросил я. — Миром он был недоволен, а собою доволен? — И мать сказала: — Да, по-моему, собою — да . — И не думал о другом долге? — спросил я. — Был доволен?

И мать сказала: — А почему бы ему не быть довольным? В конном шествии, в седле он чувствовал себя королем... И у него были мы — три дочери-женщины, все красивые! Почему бы ему не быть довольным?

— Ладно , — сказал я. — Ты, наверно, не знаешь, был он доволен или нет...

XVIII

Потом мать принялась убирать посуду. Крана не было, она мыла тарелки в глиняном тазу с горячей водой, за мытьем начала насвистывать.

— Ты мне поможешь? — спросила она, как только вытащила из горячей воды первую тарелку. Я встал и приготовился ей помогать, она немного потеряла тарелку золой и передала ее мне, указав на ведро с холодной водой, чтобы я ополоснул тарелку в этом ведре, а потом ее вытер. Так дело и пошло: тарелка за тарелкой, прибор за прибором, она насвистывала и пела, я следил за ней.

Вернее, мать не пела, а напевала вполголоса старинные мелодии без слов, то мыча, то насвистывая, то издавая какое-то горловое воркование; и она выглядела смешно, эта женщина пятидесяти или пятидесяти без малого лет, с лицом еще не старым, высушенным годами, но не старым, с каштановыми,

почти русыми волосами, в наброшенном на плечи красном одеяле, обутая в отцовские башмаки. Я видел ее руки: они были большие, натруженные, узловатые, совсем не то что лицо, — это могли быть и руки мужчины, который валит деревья или пашет землю, между тем как лицо ее было лицом одалиски в каком-то смысле. «Вот наши женщины», — подумал я и имел в виду не только сицилианок, но вообще женщин, в чьих прикосновениях рук по ночам нет мягкости и ласки, и, может быть, потому они бывают порой несчастными, ревнивыми и дикими, что руки у них не как у одалисок, не то что лица и сердца, и этими руками они не могут удержать при себе своих мужчин. Я подумал об отце и о самом себе, обо всех мужчинах, которым нужно чувствовать на себе мягкость рук, и решил, что понял отчасти наше беспокойство рядом с женщинами, нашу готовность дезертировать от них, от наших женщин с грубыми, проворными, почти мужскими руками, такими жесткими по ночам; и как мы попадаем в рабство и зовем королевами женщин, когда они, женщины — одалиски, если такое случится. Поэтому, думал я, мы и любим саму идею высшего света, всего военно-бюрократического общества, иерархии, династии, даже сказочных принцев и королев ради идеи женщины-одалиски, чьи руки взлелеяны для ласки. Нам довольно знать, что они существуют, знать, что такие женщины есть, хотя и отгороженные от нас своими скакунами, гербами, евнухами; и так получается, думал я, что мы начинаем любить весь их праздник с его фанфарами и гербами, их большой гарем, даже их мужчин, и не выходим из игры, но отворачиваемся от женщин и девушек, которые нам ровня, ища взглядом других — мы все: я, мой отец, всякий мужчина, — ища в новых женщинах чего-то нового и не подозревая, что ищем мы прикосновения нежных рук. Так я размышлял и думал о том, какие мы подлецы, когда глядел на руки матери, такие обезображенные, и представлял себе ее ноги, такие же обезображенные, в мужских башмаках: на все это надо закрывать глаза, словно это неназываемое в них — от другой природы. Мать пела — и была как певчая птица, она насвистывала, мычала, ворковала, и ее руки и ноги были ни при чем, и ни при чем были

ее годы: важно было только, что она поет, что она как птица, — моя мать-птица, принадлежащая воздуху и — когда она кладет яйца — свету, приносящая свет.

— Что же е , — сказал я , — ты, наверно, когда бываешь одна, проводишь так все свое время . — Как ? — Да т а к , — сказал я . — Напеваешь.

Мать пожалала плечами, показывая, что, может быть, и не замечает, как поет. А я добавил : — Тебе не тяжело быть одной?

Тогда она взглянула на меня искоса, как всегда в минуты растерянности, потом, наморщив лоб, сказала: — Если ты думаешь, что мне не хватает общества твоего отца, так ты ошибаешься. Что это тебе взбрело в голову?

— Почему? — сказал я . — Разве он был для тебя плохой компанией? Я думаю, он тебе помогал даже убирать.

И мать сказала: — Это не значит, что я должна чувствовать себя без него одинокой.

А я сказал : — Он ведь был настоящий кавалер.

А мать сказала : — Для чего в доме кавалер? В том-то и мое несчастье, что он был настоящий кавалер.

А я сказал : — Пожалуйста, объясни понятнее.

А мать сказала : — Понимаешь, дедушка не был кавалером... Он не называл женщин королевами, не писал для них стихов . — Наверно, он не любил женщин , — сказал я .

А мать сказала : — Не любил? Да он любил их в десять раз больше, чем твой отец. Но ему незачем было звать их королевами. Которая ему нравилась, ту он просто тащил в ложбину. Здесь, в деревне, много женщин его помнит. И в Пьянце тоже.

— И ты еще жалуешься на отца? По-моему, будь ты женой дедушки, тебе, с твоим характером, было бы хуже.

— Х у ж е ? — воскликнула м а т ь . — Почему хуже?

— А потому, — сказал я . — Дед тащил их в ложбину, отец писал им стихи. Мне кажется, эти прогулки в ложбину тебе было бы тяжелее выносить, чем стихи...

— Вот уж нет! С твоим отцом все горе было в стихах. Я бы довольна была, если бы он просто волок их в ложбину.

А я сказал : — Как так? Он что, сперва тащил их в ложбину, а потом писал стихи?

А мать сказала: — Конечно... И называл их королевами, обращался с ними как с королевами. Ведь он был кавалер! Если какую-нибудь бабу звали благородно — Манон, например, — он просто с ума сходил, в его-то годы! Смешно, право.

— Кого это звали Манон? — спросил я.

— Она была наездница из цирка. Из-за нее я и прогнала его... Потому что ее звали Манон. Но он всегда обращался с ними как с королевами: он ведь был кавалер.

Возникла пауза, потому что я не ответил, а мать, судя по всему, ждала, так что я сказал: — Да, он был кавалер.

И мать сказала: — Да, в том-то и горе. Я была бы довольна, если бы он просто волок их в ложбину... А он приходил и говорил: «Родная моя, если бы ты была маленькая, можно было бы называть тебя Манон». — И в этом было горе? — сказал я.

И мать сказала: — Горе было в том, что он обращался с ними как с королевами, а не как с грязными козами. И внушал им бог знает что. В том и было горе, что я не могла смотреть на них сверху вниз.

— Ах так! — сказала я. — Ты не могла смотреть на них сверху вниз? — А про себя думал: «Вот смешная женщина!»

И мать сказала: — Он им внушал, будто они невесть что такое, и они глядели на меня так, будто были невесть чем... Они приходили ко мне в дом, эти жены железнодорожников, крестьянки, и держались нагло, спокойно, не опускали глаз, смотрели на меня так, будто были бог знает чем. И я не могла глядеть на них сверху вниз!

«Вот смешная женщина!» — думал я.

А мать говорила: — В том-то и было горе! Он им внушал, будто они намного выше меня! И они смотрели так, будто были выше меня. Потому что он называл их королевами. Из-за него они и подумать не могли, что они грязные козы! И я не могла смотреть на них сверху вниз.

Так она говорила, а я думал: «Вот смешная женщина! Смешная женщина!» И чуть ли не смеялся про себя. Я знал, что такое мы, мужчины: может быть, подлецы — и мой отец, и я сам, — но мы правы в том, что восхищаемся ими, что внушаем им, будто они бог весть что такое, — и про себя я посмеивался.

XIX

Мать взялась за метлу и стала подметать, и в ней было такое изобилие матери и женщины, что я, посмеиваясь про себя, подумал, что она тоже могла бы быть одной из тех, кого она называла «грязными козами», и несмотря на свои загорбелые руки — сокровенной королевой для других мужчин, порождающей их восторги.

«А почему бы и нет?» — думал я.

Слишком большое изобилие было в ней, чтобы она оставалась всего только женой, бедной и жалкой, заслоненной восторгами собственного мужа перед другими женщинами. Слишком много старого меда было в ней — такой, какая двигалась сейчас по кухне, с красным одеялом на плечах, высокой и почти русой. Слишком много в ней было старого меда, не могла она быть бедной и жалкой.

И, продолжая посмеиваться про себя, я сказал: — Смешная ты женщина! Тебе хотелось, чтобы они чувствовали себя козами? — Хотелось, — сказала мать. — Мне хотелось, чтобы я могла надо всем этим смеяться... — Смешная ты женщина! — сказал я. — Ты бы над этим смеялась?

И мать сказала: — Само собой! Этого для меня бы просто не существовало. Я бы смеялась — и все. Но он-то обращался с ними не как с козами...

А я сказал: — А почему он должен был так с ними обходиться? У них были мужья, как у тебя, были дети, как у тебя...

А мать сказала: — Ну и что? Никто их не заставлял заниматься этим.

А я сказал: — Разве то, чем они занимались, это такая уж грязь? Разве ты с ним занималась не тем же самым? Или они делали что-нибудь другое?

— Другое? — воскликнула мать и на мгновение бросила мести. — Как другое? То же самое, а что может быть еще?

— Так как же? — сказал я. — У них были мужья, как у тебя, были дети, как у тебя. И что они с ним делали, было не более грязно, чем то, что делала ты. Почему же он должен был обходиться с ними как с грязными козами?

А мать сказала: — Но ведь он был не их муж, а мой...

— В этом вся разница? — сказал я. А про себя посмеивался. Я видел, как она оцепенела посреди кухни с метелкой в руке, перестала подметать, и посмеивался про себя. — Не понимаю, как ты рассуждаешь, — сказал я. И, посмеиваясь, решил нанести удар. — Не понимаю, как ты рассуждаешь, — повторил я. И сказал: — Значит, ты тоже была грязной козой, когда занималась этим с другими мужчинами?

Мать не покраснела. У нее заблестели глаза, губы сомкнулись, она вся стала жесткой, выросла, в ней забродил старый мед, но она не покраснела.

А я, посмеиваясь про себя, сказал: — Ведь и ты, я полагаю, побывала в ложбине. — Я был доволен, заставив старый мед в ней бродить, посмеивался про себя и стал разговорчив. — Не всегда же ты была только в кухне! Спускалась же и ты с кем-нибудь в ложбину!

— О! — сказала мать, окаменев посреди кухни. Весь старый мед в ней всколыхнулся, но она не покраснела, не застыдила сь. — О! — сказала она, глядя на меня сверху вниз.

Говоря так, она была больше чем моей матерью, матерью-птицей, пчелиной маткой, но старый мед в ней был слишком стар и успокоился, улегся, а я в конце концов был двадцатидевятилетним сыном, почти тридцатилетним, и половина меня — пятнадцать лет — была для нее чужая, наполовину я был для нее незнакомым мужчиной, и она сказала, принимаясь подметать: — Что ж, по-моему, он этого заслужил, если я раз или два была с другими мужчинами.

И я подумал, посмеиваясь про себя: «А, старая коза!» А вслух сказал: — Конечно, он заслужил. — Потом спросил: — Много раз? Со многими мужчинами? — О! — воскликнула мать. — Ты что думаешь, я за вами, мужиками, бегала?

А я сказал: — Да нет же! Я просто хотел узнать, с одним это было или с двумя?

И мать сказала: — С одним, с одним! Второй раз не в счет, это была ошибка. — Ошибка? — сказала я. — Как ошибка?

И мать сказала: — Это было с одним кумом, когда мы были в Мессине. После землетрясения... Это все из-за суматохи,

одним словом, я еще очень молодая была, больше об этом и не вспоминали.

— Смотри-ка ты! — сказала я. — А с вторым? — И мать сказала: — О! Со вторым это вышло случайно! — Он тоже был наш кум? — спросила я.

— Нет. Я его не знала. — Ты его даже не знала? — воскликнул я.

А мать сказала: — Чему тут удивляться? Ты ведь не знаешь, как все вышло.

А я сказал: — Наверно, он тебя изнасиловал.

А мать сказала: — Изнасиловал?

Я засмеялся про себя, услышав, каким тоном мать произнесла это, потом поглядел на нее так, будто я был на другом краю земли, а не в ее собственной кухне, в ее Сицилии, и спросил:

— Где это было? Уже когда мы жили в путевых домиках?

XX

— Это было в Аквавиве, — сказала мать. Я слушал ее теперь с другого края земли и представил себе Аквавиву где-то очень далеко в пространстве, пустынное место у подножья горы. И все же сказал: — Но в Аквавиве мы уже были большие. Это было после войны.

— Ну и что? — сказала мать. — У вас мне, что ли, надо было спрашивать разрешения, если вы были большие? Тебе было одиннадцать лет. Вы ходили в школу, уходили играть.

Так и бывало в этих пустынных местах — Аквавиве, Сан-Катальдо, Серрадифалько: дети отправляются товарным поездом в школу или убегают играть в расселинах округлой равнины, мужчина работает лопатой, женщина — за стиркой или еще где-нибудь, и каждого черт донимает по-своему под этим пустынным небом.

Там, далеко в пространстве, было безоблачно, и мать сказала, что лето тогда стояло страшное. Это значило: ни струйки воды в горных речках на сто километров вокруг и в глазах — ничего, кроме сухой травы, от того места, где солнце всходило из нее, до того, где садилось. И жилья нет на двадцать — тридцать километров вокруг, кроме путевых домов вдоль линии,

придавленных к земле пустынностью; «страшное лето» — это означало километры и километры без тени, надрывающихся на солнце цикад, опустошенные солнцем домики улиток, все предметы, превратившиеся в солнечный зной.

— Тогда стояло страшное лето, — сказала мать. Она кончила подметать и вертелась по кухне, расставляя все по местам, и не рассказывала, а отвечала мне на вопросы.

— Это было утром или за полдень? — спросил я.

— По-моему, за полдень. Не было ни ос, ни мух, ничего. Наверно, за полдень. — А ты что делала? — спросил я.

— Я как раз испекла хлеб.

Одним словом, было вот что: на километры и километры — запах змеи, издохшей на солнце, потом внезапно, около дома, запах хлеба только что из печи.

— Я как раз испекла хлеб, — сказала мать. — А потом? — спросил я.

И мать сказала: — Я стирала. Корыто у нас стояло во дворе, возле колодца, и было, наверно, за полдень, потому что тень как раз падала на колодец. Я всегда стирала после полудня.

Значит, было за полдень, и был запах хлеба только что из печи, около дома, и там же был колодец, была вода, привезенная поездом в цистерне, и женщина за стиркой. Но она ничего не рассказывала, моя мать, а только отвечала мне на вопросы, и я спросил ее: — А он что? — Это был бродяга... — сказала мать. — Бродяга! — воскликнул я. — Да, он шел пешком, — сказала мать.

— Столько километров — без деревень, без воды?

— Да. У него был только узелок с вещами, чтобы переодеться, солдатский мундир без звездочек да на голове старая шляпа, как у жнеца. Башмаки он снял, связал вместе и перебросил за спину... — Издалека он шел? — спросил я.

— Наверно. Он мне говорил, что прошел через Пьетраперцию, Бутеру, Мадзарينو, Терранову и еще сотню сел. Мне казалось, он шел прямо оттуда, с войны, она как раз кончилась. И одет он был в мундир, только без звездочек.

— И везде пешком? — сказал я. — Через Терранову, Бутеру, Мадзарينو, Пьетраперцию?..

И мать сказала: — Пешком... В тот день было ровно двое суток, как он не видел деревни, не встречал живой души.

— И двое суток не ел? Двое суток не пил? — сказал я.

И мать сказала: — Больше! В последний раз он проходил мимо отары на выпасе, а к отарам бродяг не подпускали собаки. Так он мне рассказал, а сам выпил целое ведро воды.

Она остановилась, как будто ей нечего было больше сказать, и я спросил: — Он, кроме воды, ничего не хотел?

— Он хотел и другого, если только мог получить, — сказала мать. — Он, правда, не просил, но я дала ему хлебец — часа не прошло, как я вынула хлеб из печи — и приправила его маслом, солью и майораном, а он нюхал воздух, вдыхал запах хлеба и говорил: благодарение богу!

Мать снова остановилась, она не рассказывала, а отвечала мне на вопросы, и я о чем-то спрашивал, не помню больше о чем, и мать сказала, что этот человек смотрел на нее, когда благодарил бога и ел хлеб. Я снова спросил что-то, не помню что, и мать сказала о том, как поняла, что прохожий был голоден и еще в одном, но не просил, а благодарил бога, однако хотел и другого, если только мог получить. И я снова спросил ее, не помню о чем, и мать сказала, что ей не хотелось, чтобы он еще в чем-нибудь чувствовал голод и жажду, ей хотелось видеть его сытым: ей казалось долгом христианского милосердия утолить и другой его голод, другую жажду. И я подумал: «Благословенная коза!» — и сказал: — Словом, это тоже было один раз.

— Нет, — сказала мать. — Этот человек приходил и в другие дни, всегда за полдень. — Значит, он был из здешних мест, а не бродяга? — И мать сказала: — Он был бродяга. Шел в Палермо через всю Сицилию.

А я сказал: — Он шел в Палермо? И дошел?

А мать сказала: — Шел, но не дошел. Он дошел до Бивоны, там получил работу на серных копях и остался. — В Бивоне? — сказал я. — Но ведь от Бивоны до Аквавивы далеко.

И мать сказала: — Это за горами. Километров пятьдесят: от Аквавивы до любой деревни километров пятьдесят, не ближе.

— Нет, — сказал я. — До Кастельтермини меньше пятидеся-

ти. Почему он не остался в Кастельтермини?

И мать сказала: — Может быть, в Кастельтермини не было работы. А может быть, он хотел в Палермо и дошел до Бивоны, а там передумал.

— И он проделывал полсотни километров пешком, чтобы прийти к тебе? — сказал я.

И мать сказала: — Полсотни сюда и полсотни обратно... Он ведь был бродяга. Появился на седьмой день после того раз а . — А часто он появлялся? — спросил я.

И мать сказала: — Несколько раз. Приносил мне маленькие подарки. Однажды принес сотов с медом, запах стоял на весь дом... — О! — воскликнул я. — А почему же он перестал появляться?

— А вот почему, — сказала мать. Она готова была продолжать дальше, но взглянула на меня и задала вопрос: — Что же ты не спросишь, был ли он Большой Ломбардец?

— О! — воскликнул я. — При чем тут это?

— По-моему, б ы л , — сказала м а т ь . — По-моему, он думал о других обязанностях. Разве тот, кто думает о других обязанностях, не Большой Ломбардец?

— Он думал о других обязанностях? — воскликнул я. — Он, бродяга?

— Д а , — сказала м а т ь . — К зиме там, на серных копиях, была стачка, и крестьяне тоже взбунтовались, прошли поезда с солдатами королевской гвардии...

Теперь мать рассказывала, мне не приходилось задавать вопросы.

— Железнодорожники не бастовали, — сказала она . — Прошли поезда с королевской гвардией. В Бивоне было больше сотни убитых, не гвардейцев, а этих...

— И ты думаешь, он был в числе убитых?

— Да, я думаю , — сказала м а т ь . — А иначе почему он не появился снова?

— А , — сказал я. И посмотрел на мать, увидел, что в кухне ей больше нечего делать, увидел ее невозмутимое спокойствие и то, как она разглаживает рукой платье на бедре, и снова подумал: благословенная коза!

Часть третья

XXI

С улицы послышалось жалобное послеполуденное бляение; поднявшись, оно не затихло, превратилось в музыку: то были волюнки.

— Скоро рождество, — сказала мать. И добавила: — Мне пора на обход.

Она села на стул, чтобы переобуться, сняла мужские башмаки, надела пару женских сапожек, что стояли под столом.

— Обход? Какой обход? — спросил я.

— Я возьму тебя с собой, — сказала мать.

Она встала; в сапожках мать казалась выше, больше покачивала бедрами. Она перешла в другую комнату, чтобы переодеть домашнее, и оттуда заговорила со мною сквозь звук волюнок. Она сказала, что стала делать уколы. Решила, что ни в чем не может рассчитывать на отца, и стала вот так, уколами, зарабатывать себе на жизнь.

В черном пальто, с большой, вроде акушерской, сумкой на руке она вывела меня на улицу, под холодное солнце — и началась новый этап моего путешествия в Сицилию.

XXII

Мы прошли за домом по ведущей вниз улице, между оград, за которыми были сады, и, подойдя к каким-то дверям, постучали в них. Двери отворились.

Внутри было темно, и я не разглядел, кто нам открыл. Окон не было, только над дверью был небольшой проем с потемневшими стеклами, и я ничего не видел, не видел даже матери. Однако слышал ее слова.

— Со мною с ы н , — сказала она. Потом спросила: — Как себя чувствует ваш м у ж ? — Как обычно, Кончецьоне, — ответил женский голос. Потом воскликнул: — Какой большой у вас сын!

Из глубины мужской голос произнес: — Я здесь, в постели, Кончецьоне. — Голос был как из-под земли. Еще он с к а з а л : —

Это и есть ваш сын? — Это Сильвестро, — сказала мать.

Они разговаривали поодаль от меня, эти три голоса, принадлежащие невидимым существам. И разговор шел обо мне.

— Он в вас, такой же рослый! — сказал женский голос.

Они видели меня, оставаясь невидимы: совсем как духи. И как дух, моя мать в полной темноте сделала укол, говоря об игле и об эфире.

— Вы должны есть, — сказала она. — Чем больше будете есть, тем скорее поправитесь. Что вы ели сегодня?

— Луковицу, — ответил мужской голос. — Хорошую луковицу, — сказал женский голос. — Я испекла ее в золе. — Ладно, — сказала мать. — Но вам следовало дать ему еще яйцо. — В воскресенье давала, — сказал женский голос. И мать сказала: — Ладно. — И крикнула из темноты: — Сейчас мы идем, Сильвестро.

Я ласкал теплую козью шкуру. Сделав несколько шагов вперед по неровному земляному полу, я наткнулся руками на эту теплую шкуру и остановился в холодной темноте, чтобы согреть руки живым теплом. — Сейчас идем, — повторила мать.

Но мужской голос из глубины задержал ее еще на минуту, спросив: — Сколько еще уколов мне надо сделать?

— Чем больше сделаете, тем лучше поправитесь, — отвечала мать.

— Но мне осталось еще пять, — сказал голос.

А женский голос сказал: — По-вашему, от пяти уколов он выздоровеет? — Все может быть, — сказала мать.

Дверь отворилась, мать снова стала видимой — показалась на пороге с акушерской сумкой на руке.

Мы вышли и опять зашагали между стенами садов — к другому дому, куда вел обход, на улицу, идущую под уклон ниже первой. Перед глазами, за ширью долины, была мохнатая от снега гора; сбоку были домики, которые поднимались из садов на фоне неба и далекой горы, с другого боку, под блестящим и все-таки погасшим солнцем, были входы в жилища, вырытые в скале под расположенными выше лачугами и садиками. Садика были крохотные, между двумя крышами они выглядели как миски с зеленью; по улице брели козы, разленившиеся

от солнца, перезвон колокольчиков смешивался в холодном воздухе с музыкой волюнок. Это была маленькая, сбившаяся в кучу Сицилия, вся из кустов мушмулы, из черепицы, из отверстий в скале, из черной земли и коз, оглашаемая музыкой волюнок, звучавшей все дальше у нас за спиной и превращавшейся где-то высоко в облако или снег.

Я спросил у матери: — Чем этот человек болен?

— Тем же, что и в с е , — отвечала м а т ь . — У кого — немножко малярия. У кого — немножко чахотка.

XXIII

Мы шли минуту или две, не дольше, и мать снова постучалась в дверь, и опять я оказался в темноте, на неровном земляном полу, среди запаха заброшенного колодца.

— Со мною с ы н , — снова сказала мать.

И снова я услышал разговор о себе, голоса людей, которых сам не видел, и среди них — тонкий голос ребенка.

М а т ь с к а з а л а : — У вас есть ампулы?

— Е с т ь , — ответил мужской голос.

Другие голоса заговорили все вместе: — Зажги огонь, Т е р е з а . — Возьми соломы.

И мужской голос стал переговариваться с детским. То был голос мужчины с ребенком на руках, годовалым или двухлетним. Мать заговорила еще о чем-то, касавшемся уколов, мужчина ответил, чем-то зашумел, выдвинул ящик, а на руках у него был пронзительный голосок ребенка.

Потом в непроглядной колодезной темноте засветился огонек спички, я увидел руки матери, а когда этот мгновенный свет, падавший ей на руки, исчез, услышал ее голос, спрашивавший:

— Н у ч т о ? — Она переспросила еще два или три р а з а : — Н у ч т о ? — Потом спросила: — Как она себя чувствует?

И вместе с ней задал вопрос сильный мужской г о л о с : — Кончещоне говорит: как она себя чувствует? — А? — послышалось в ответ. И мать спросила: — Чем вы ее кормили?

— Сегодня же вечером покормим цикорием, — ответил мужской голос.

Последовал вопрос о том, сколько еще уколов остается сде-

лать, и мы покинули незримых духов, пошли прочь, и мать сказала, что счастье еще, если больна женщина, а не мужчина, потому что когда болеет женщина — это ничего, а когда мужчина — пиши пропало... — Почему пиши пропало? — сказала я.

— Тогда уже больше не едят ни зимой, ни летом, — сказала мать. И добавила, что женщины вообще теряются, когда заболит мужчина, они не догадываются даже спуститься в долину нарвать цикория или набрать улиток на похлебку, не могут ничего сделать, кроме как улечься вместе с мужем в постель.

XXIV

Музыка волынок удалилась на верхний конец деревни, совсем превратилась в облачко или снег, а со дна долины стал доноситься грохот горной реки.

Мы вошли в темноту, в удушающий воздух. Было темно и дымно; но голоса невидимок переговаривались так же спокойно, как в остальных домах. И голос матери не дрогнул от дыма.

— Со мною сын, — сказала она. И заговорила о том же, о чем везде: обо мне, потом об ампулах, об иголке; на мгновение ее руки осветились огоньком спички. Когда светлый миг кончился, мать спросила: — Ну что, как самочувствие? — В ответ сказали: — М-м! — И мать спросила: — Чем вы его кормили?

— Сейчас поедим! — ответили ей. И еще: — Мы как разстряпаем. — Голосов было много.

Мы опять вышли, и мать стала говорить вещи, прямо противоположные тем, которые говорила только что. Она сказала, что сущее несчастье, когда больна женщина, мать. Лучше там, где болеет мужчина. Ведь зимою мужчины не работают и ни на что не годны, а если заболевает женщина — пиши пропало... Потому что женщина, говорила она, всегда может нарвать цикория в долине или набрать улиток для похлебки. На женщине держится весь дом, говорила мать.

И опять мы вошли в темноту, опять мать стала невидима, говорила невидимо. Сказала обо мне: — Со мною сын.

Потом стала говорить об ампулах и иголке, сделала укол при зажженной спичке, на мгновение осветившей ее руки. Потом спросила, что больной ел, получила ответ, что он поест,

сегодня же вечером или завтра, а когда мы вышли, мать, снова став видимой, начала говорить прямо противоположное тому, что говорила сейчас: если заболел мужчина, пиши пропало...

Мы спустились по черному рву улицы еще ниже, за грань солнечного света, в тень, где звучали в холоде колокольчики коз и грохот потока; мы опять входили в темноту, пахнущую колодецем, либо в темноту, пахнущую темнотой или дымом, и мать в виде вступления говорила обо мне, говорила об иголке и ампулах, задавала вопросы о пище, и всегда, когда мы собирались уходить, нас на миг задерживал голос, который тревожно осведомлялся, сколько еще уколов надо сделать для излечения и не лучше ли сделать больше пяти или десяти, словом, назначенного числа.

Так мы путешествовали по уменьшенной, скученной Сицилии, которая снаружи состояла из кустов мушмулы, черепицы и шума реки, а в домах — из духов среди темноты и холода; а мать была странным существом, живым, как я, и на свету рядом со мной, и с невидимками во тьме, где она не терялась, не то что я всякий раз и при входе, и при выходе.

Каждый раз она говорила за дверью противоположное тому, что говорила раньше. То она утверждала, что когда заболит мужчина, пиши пропало; то говорила, что когда заболит женщина, пиши пропало. Кроме того, она говорила: — У одного немножко чахотка, у другого — немножко малярия. — И то добавляла, что лучше уж немножко малярия, чем чахотка, то говорила, что лучше уж немножко чахотка, чем малярия. — С малярией не приходится ехать в Энну за лекарствами.

Она рассказывала, что это разорение — ехать в Энну, в диспансер за лекарствами от чахотки: поездка долгая, стоит тридцать две лиры, да еще рискуешь угодить в больницу. В первый раз люди еще едут в Энну, рассказывала она, а потом не хотят. Не могут.

— А от малярии лекарства раздает коммуна, — говорила она. Но в следующий же раз заявляла: — С чахоткой поезжай только в Энну — и получишь все лекарства, какие хочешь. — И рассказывала, что это беда — зависеть от коммуны в смысле лекарств против малярии. Коммуна бедная, лекарств мало,

больше одной коробочки не дают. А с одной коробочки разве вылечишься?

— А чахоточным лекарства выдает диспансер в Э н н е , — говорила о н а . — Он большой, богатый, его содержит правительство.

И каждый раз говорила противоположное тому, что утверждала раньше.

XXV

Над самым грохотом потока мы вошли в дом, где был свет. Дом был не выкопан в скале, а сложен из камня посреди сада, на обочине дороги. Из окна в задней стене падало немного света.

— Добрый вечер, со мною сегодня с ы н , — сказала мать, входя.

Она не стала незримой, и я увидел людей, увидел в них всех тех, кого раньше не мог разглядеть. В постели я увидел больного, с закрытыми глазами, с лицом, потемневшим от щетины, и еще пять или шесть женщин, вроде монахинь, которые сидели в ногах кровати вокруг ведра на полу.

Как обычно, мать прежде всего заговорила обо мне.

— Со мной сегодня с ы н , — сказала она.

И я увидел, как она это сказала, увидел, как на меня посмотрели при этих словах все остальные.

— Какой у вас большой с ы н , — сказала одна из женщин.

— У меня они все большие, а этот самый большой, — так сказала ей мать. И женщина спросила: — А откуда он к вам приехал?

Они говорили обо мне, моя мать и эти женщины, а я увидел, что ведро полно черных улиток и что они в очередь брали по улитке и высасывали. Женщины были молодые и пожилые, одетые в темное, а высосав улитку, они бросали домик обратно в ведро.

— Приятного аппетита! — сказала мать. И тут же стала говорить об ампулах, об иголке, об эфире, открыла сумку, перевернула больного и сделала укол.

Я увидел, что больной остался лежать ничком.

— Ну к а к ? — спросила у него мать.

Ответа не было. Мать снова спросила: — Ну как?

Ответила ей пожилая женщина: — Это все зря. Он не говорит и т. — Не говорит? — воскликнула мать. — Не говорит, — ответила другая женщина.

Пять женщин сосали улиток, сидя в ногах кровати, и самая старшая сказала: — Гаэтано, говори! У нас Кончецьоне.

Больной медленно перелег на бок, но не заговорил. И самая старшая из женщин обернулась к матери: — Видели? Он не желает говорить.

Мать наклонилась над больным и — я видел это — положила ему руку на плечо.

— Что за штуки, Гаэтано? — сказала она. — Вы не желаете говорить?

Больной медленно перевернулся с боку на спину и показал лицо, но отвечать снова не стал. Даже глаз так и не открыл.

— Это все зря, — сказала старшая из женщин, — он не хочет говорить. Со вчерашнего утра не разговаривает...

Мать спросила: — Он ел?

Женщины показали на ведро, а старшая ответила: — Да, поел.

И тут больной внезапно заговорил. Крепко выругался.

Я посмотрел на него и увидел, что он раскрыл глаза. Взгляд их был уставлен на меня — больной меня изучал, а я изучал его, глядя ему в глаза, и на мгновение было так, будто мы остались наедине, человек с человеком, и никакие обстоятельства — даже болезнь — ничего не значили. Я не рассмотрел цвета этих глаз, увидел только, что они и есть род человеческий.

— Откуда вы? — спросил больной. — Я сын Кончецьоне, — сказал я.

Он снова закрыл глаза, и мать сказала женщинам:

— Вы должны его развеселить. — А потом мне: — Идем, Сильвестро.

XXVI

Незадолго до того я болел, тяжело и долго, несколько месяцев, и знал всю глубину этого состояния, этой глубочайшей беды среди всех бед рабочей части рода человеческого, особенно

когда лежишь в постели двадцать дней, тридцать дней, и в четырех стенах остаешься только ты сам — и полотно постельного белья, металл кухонной посуды и дерево стульев, стола, шкафа.

Тогда в мире не остается ничего больше, и ты смотришь на эти вещи, но ничего не можешь из них сделать: ведь не сварить же бульон из стульев и шкафа! А шкаф такой большой, им можно было бы прокормиться целый месяц. И на все эти вещи смотришь так, как будто они съедобные; может быть, по этой причине дети и становятся опасными и все ломают, ломают...

Самый младший целый день держит во рту проножку стула и орет, если мать пытается ее отнять. А мать, она же и жена, она же, одним словом, моя девушка, смотрит на книги и время от времени берет одну из них, принимается читать. Целыми часами она листает ее и читает. И больной спрашивает: — Что ты читаешь?

Женщина не знает, что она взяла читать, книга может быть какая угодно — словарь или старая грамматика. И больной говорит: — Нашла время набираться культуры!

Женщина ставит книгу на место, но потом опять рассматривает их ряд — хотя все это книги, а не съестное, — опять берет одну из них и на этот раз уходит из дому, уходит до вечера.

— За сколько ты ее продала? — спрашивает потом больной.

Женщина говорит, что за лиру пятьдесят, и больной недоволен, он не очень ясно понимает положение, с ним рядом в постели, измявшейся за столько дней, неустрашимая лихорадка. Однако ему хочется чего-нибудь, кроме этой книги, которая была его книгой, еще когда он был мальчишкой, он ждет чашки бульона и орет на жену, которая вместо этого купила хлеба и сыра для себя и для детей.

— Ш а к а л ы ! — говорит он о детях.

Они-то в школе получают каждый день тарелку супа. Это хорошее начинание: каждый день давать в школе тарелку супа детям тех, кто умирает с голоду. Но получается, что это только для аппетита. Похлебав супу, дети возвращаются домой, скалясь от голода, они не слушают никаких уговоров, хотя есть во что бы то ни стало, становятся как дикие звери, пожира-

ют куски стульев и пожрали бы отца с матерью, пожрали бы больного, если бы однажды застали его одного. На ночном столике у изголовья больного — лекарства. Дети возвращаются из школы, скаля от обострившегося голода острые зубы, они подходят ближе к больному, готовые его съесть, они подкрадываются неслышным шагом. Но дома мать, и дети не трогают больного, набрасываются на лекарство.

— Ш а к а л ы, — говорит больной.

А между тем газовщик отключил газ, электрик отключил свет, и долгие вечера в комнате больного проходят в темноте. Только воду не отключили: тот, кто ею занимается, приходит раз в шесть месяцев, так что нет непосредственной опасности, что он явится и отключит воду, поэтому ее пьют, пьют, пьют больше, чем могут, кое-как вскипяченную или сырую.

Но есть еще хозяйка дома: она приходит каждый день, хочет видеть «господина больного», хочет видеть его лицом к лицу, а когда входит и видит его, говорит:

— Что ж, господин больной, это слишком большая роскошь — не платить за квартиру и лежать в постели... По крайней мере пришлите мне жену вымыть посуду.

И жена отправляется к хозяйке мыть посуду, мыть полы, стирать белье: все в счет долга за квартиру; и больной часами остается дома один, бок о бок с неустрашимой лихорадкой, которая бьет его по лицу, бьет и бьет, трясет его, как бы пользуясь его одиночеством.

Возвращается жена, и больной спрашивает ее, не принесла ли она чего от хозяйки. — Н и ч е г о, — говорит жена.

Она никогда ничего не приносит.

— Но почему ты хоть не нарвешь дикой зелени? — спрашивает он. А жена говорит: — Где?

Она идет по улицам и приходит в парк; на газонах — трава, на деревьях — листья, все это зелень, она рвет траву, рвет иголки с елей и пиний, потом отправляется в сады и рвет цветы и возвращается домой с зеленью — листьями и цветами, спрятанными на груди. Все это она бросает на одеяло больного, теперь он — человек среди цветов.

— В о т, — говорит ж е н а, — зелень!

XXVII

Я знал и это, и больше этого, мог понять всю нищету больного и тех, кто его окружает, если они принадлежат к рабочей части рода человеческого. Разве не каждый из людей знает ее? Не каждый из людей может ее понять? Каждый человек в середине жизни однажды бывает болен, знает то постороннее внутри себя, что зовется недугом, знает бессилие перед ним — и может понять себе подобное...

Но, может быть, не всякий человек есть человек, не весь род человеческий есть род человеческий. Такое сомнение приходит во время дождя, когда у тебя рваные ботинки и вода в рваных ботинках, и никто в отдельности не занимает твоего сердца, и нет ни твоей отдельной жизни, ни сделанных, ни предстоящих дел, и нечего бояться, нечего терять — и ты видишь дальше самого себя, видишь жертвы по всему миру. Один человек смеется, а другой плачет. Оба они — люди; даже тот, кто смеется, болел и болен сейчас, но он смеется, потому что другой плачет. Он может обрекать в жертву, преследовать, но тот, кто отчаялся, видит его смех в газетах и газетных призывах и не идет с тем, кто смеется, и разве что плачет, обретя покой, с тем, другим, который плачет. Значит, не всякий человек есть человек. Один преследует, другой преследуем, и род человеческий не весь есть род человеческий — он только из преследуемых. Убейте человека — и он станет еще больше человеком. И еще больше человеком становится больной, голодный; род человеческий — еще больше род человеческий, когда он — из умерших с голоду.

Я спросил мать: — Что ты об этом думаешь? — О чем? — сказала мать. И я сказал: — Обо всех тех, кому делаешь уколы. — А мать сказала: — Думаю, что они, наверно, не смогут мне заплатить.

— Хорошо, — сказал я. — И все-таки ты каждый день ходишь к ним, делаешь им уколы и надеешься, что хоть чем-то они смогут тебе заплатить. Но что ты о них думаешь? Кто они, по-твоему?

— Я не надеюсь, — сказала она, — я знаю, что кто-то смо-

жет мне заплатить, кто-то нет. Я не надеюсь. — И все-таки ходишь ко всем, — сказал я. — Но что ты о них думаешь?

— О! — воскликнула мать. — Если я могу ходить ради одного, то могу и ради другого. Мне это ничего не стоит.

— Но что ты о них думаешь? Кто они, по-твоему?

Мать остановилась посреди улицы, где мы были, и посмотрела на меня, немного скосясь. Она даже улыбнулась и сказала:

— Какие ты странные вопросы задаешь! Что я должна о них думать? Кто они? Бедняки, у одних — немножко чахотка, у других — немножко малярия...

Я покачал головой. Мать смогла заметить, что я задаю странные вопросы, но ее ответы не были странны. А мне как раз хотелось странных ответов. И я спросил: — Ты видела когда-нибудь китайца?

— Конечно, — сказала мать. — Видела два или три раза. Они бродяжничают, торгуют бусами...

— Так вот, — сказал я, — когда перед тобой китаец и ты смотришь на него и видишь, что он в такой холод без пальто, в изодранном платье, в рваных башмаках, что ты о нем думаешь?

— А что тут особенного? — ответила мать. — Я и здесь, у нас, вижу столько народу без пальто, в изодранном платье и рваных башмаках...

— Верно, — сказал я. — Но он китаец, нашего языка не знает и не может ни с кем поговорить, даже посмеяться не может — только странствует среди нас со своими бусами и галстуками, со своими поясами — без хлеба, без денег, потому что он никогда ничего не продает, и без надежды. Что ты думаешь о нем, когда видишь, какой он — этот нищий китаец без всякой надежды?

— О, — ответила мать. — Я и здесь, у нас, вижу много таких же точно... Нищих сицилийцев без всякой надежды...

— Знаю, — сказал я. — Но он-то китаец, у него желтое лицо, косые глаза, расплющенный нос, выпирающие скулы, может быть, от него воняет. У него еще больше нет надежды, чем у остальных. Не может быть надежды. Что ты о нем думаешь?

— О! — ответила мать. — Есть много и не китайцев, с желтым лицом, расплющенным носом и таких бедных, что от них,

может быть, воняет. Они не китайские, они сицилийские бедняки, и все-таки у них нет никакой надежды.

— Но подумай, — сказала я. — Он — бедный китаец здесь, в Сицилии, а не в Китае, и не может даже поговорить о погоде с какой-нибудь женщиной. А сицилийский бедняк может...

— А почему китайский не может? — спросила мать.

— А потому, — сказал я. — По-моему, ни одна женщина ничего не дала бы нищему бродяге, если бы он был не сицилиец, а китаец.

Мать нахмурилась. — Не знаю, — сказала она.

— Видишь, — воскликнул я. — Китайский бедняк — самый бедный из всех. Что же ты о нем думаешь?

Мать разозлилась: — Ну его к черту, твоего китайца!

А я воскликнул: — Видишь? Он беднее всех бедняков, а ты посылаешь его к черту! А вот если ты пошлешь его к черту, а потом подумаешь о том, что он так беден в мире, и лишен надежды, и его еще посылают к черту, — тебе не кажется, что он и есть больше всех человек, больше всех род людской?

Мать посмотрела на меня с прежней злостью.

— Китаец? — спросила она.

— Китаец, — сказал я. — Или сицилийский бедняк, больной, в постели, вроде тех, которым ты делаешь уколы. Разве он не больше всех человек, не больше всех род людской?

— Он? — сказала мать. — Да, он, — сказал я.

И мать спросила: — Больше чем кто? — Я ответил: — Чем все другие. Он ведь лежит в постели... Страдает... — Страдает? — воскликнула мать. — Но ведь это болезнь.

— Всего-навсего?

— Не будет болезни — и все пройдет. Это болезнь и больше ничего.

Тогда я спросил: — А если он голоден и страдает, что это такое? — Просто голод, — сказала мать. — Всего-навсего?

— А как же? Дай ему поесть — и все пройдет. Это голод.

Я покачал головой: от матери невозможно было добиться странных ответов, и все-таки я спросил: — А китаец?

Мать на этот раз не ответила мне, ни странно, ни просто, а только пожала плечами. Конечно, она была права; избавьте

больного от болезни — и горя не будет; накормите голодного — и горя не будет. Но человек, когда он болен, — что он такое? Или когда голодает?

Разве голод — это не все горе мира, превратившееся в голод? Разве человек, голодая, не становится еще больше человеком? Еще больше — родом людским? А китаец?..

XXVIII

Мы больше не спускались под гору вдоль домов, мы поднимались другой стороной — из глубины долины вверх, к солнцу и к музыке волынок, превратившейся в облако или в снег.

— Ты когда-нибудь болела? — спросил я у матери. — Один раз, — ответила мать. — Что это было? — спросил я.

— Не знаю, — ответила мать. — Доктора я не захотела и не знаю, что это было... Я сама поправилась.

— Сама поправилась? — сказал я. — Право, ты особенный человек!

— Особенный? — воскликнула мать. — Почему особенный?

— Ты, наверно, — ответил я, — думала, что ты не такая, как все. Разве нетак? — Ничего я не думала, — сказала мать.

— А отец когда-нибудь болел?

— Еще бы! — ответила мать. — Все время болел. У него ведь малярия. — Вот что! — сказал я. — И отец хотел доктора.

И мать сказала: — Еще бы! Он был как ребенок. У него начинался озноб, высокая температура, ясно было, что это малярия, а он все равно хотел доктора.

А я сказал: — Папа был человек смиренный.

А мать сказала: — Просто он боялся.

А я: — Он был человек смиренный.

Я немного устал, улица шла в гору, в этом месте с одной стороны тянулась стенка, и я о нее оперся. Я бросился в путешествие из моего покоя безнадежности и все еще путешествовал, мое путешествие было и беседой, и настоящим, и прошлым, и памятью, и фантазией, не жизнью ради себя, а движением, и я оперся о стенку и стал думать об отце, усталом и голубоглазом, уже не Макбете, не короле.

Когда он болел, его отягощало все горе мира, он смирялся

с тем, что он не Макбет, и хотел врача, просил врача, желал выздороветь, был как ребенок.

Когда человек бывает как ребенок, больше ли он человек? Он смиренно принимает свое несчастье и в несчастье кричит. Больше ли он тогда род человеческий?

— В сущности, он был человек смиренный, — повторил я. Потом посмотрел на мать и убрал руку со стенки.

— А дедушка болел? — спросил я. — Сильно болел, — ответила мать. — Как? — воскликнула я. — И он тоже? — Что же тут такого? — сказала мать. — Ему было под сорок, а мне лет шесть-семь. — Он-то, наверно, не хотел доктора, — сказал я. — Да, — сказала мать, — он сам выздоровел. Один раз пришел доктор для бедных и больше не приходил, дедушка его не хотел.

Я сказал: — Вот именно! Дед думал, что он человек особенный.

А мать сказала: — Чепуха! Просто он думал, что ничем не болен.

— Вот-вот, — сказал я. — Он думал, что такой особенный человек не может заболеть, как другие. Он был гордый человек.

Мать выпрямилась, осанка ее стала гордой.

— Конечно, он был гордый человек.

— А что у него было? — спросил я. — Немножко малярия или немножко чахотка?

— Да нет! — воскликнула мать. — Он сильно болел. Умер и воскрес.

Опираясь уже не на стенку, а на руку матери, я думал о людях, о самом себе, об отце и дедушке, о людях смиренных и гордых, о человечестве и о гордости нищеты — и был горд тем, что я сын человеческий.

Есть, конечно, и нелюди, и род человеческий не весь есть род человеческий. Но не из-за смирения человек перестает быть человеком. И не из-за гордости.

Человек может в несчастье кричать как ребенок и быть еще больше человеком.

И может отрицать свое несчастье, быть гордым — и быть еще больше человеком.

Гордый человек — это Большой Ломбардец, и, будучи челове-

ком, он думает о других обязанностях. И это делает его еще больше человеком. И потому, быть может, его болезнь есть смерть и воскресение.

— Это было воспаление легких, — рассказала мать, — или что-то в этом роде. А он не захотел доктора. И прогнал прочь врача для бедных. Он сказал: хлеб обходится беднякам очень дорого. Каждый кусок — день работы. И прогнал врача. Мы должны работать — так он ему сказал. И работал как раньше, по четырнадцать часов в сутки. Пока однажды ночью не умер и не воскрес.

— Дед был великий человек, — сказал я.

— Великий человек, — сказала мать.

Поднимаясь по переулку, мы вышли из тени долины и оказались на солнце. Мать сказала: — Как я делаю уколы, по-твоему? Хорошо, правда? — Очень хорошо, — сказала я.

— Видишь, — сказала мать с торжеством, с удовлетворением. — Видишь, — сказала она. — Я могу сама зарабатывать себе на жизнь.

Мы теперь были далеко от грохота реки, на солнце, лицом к солнцу, готовому закатиться, и могли слышать, как верхнюю часть деревни окутывает, словно облако или снег, музыка волюнок.

— Теперь пойдем к вдове, — сказала мать. — У этой-то есть немного денег. Она платит наличными.

XXIX

Вдова была женщина лет сорока, красивая и в теле, жила она на втором этаже, в двух или трех просторных комнатах с высокими потолками.

— Ее называют вдовой, но никакая она не вдова, — сказала мать. — Она была на содержании у знатного господина...

— А зачем ей уколы? — сказала я.

— Потому что она настоящая синьора, — ответила мать. — Богатые господа всегда делают себе уколы. Она и привыкла, когда жила с ними. А может быть, у нее тоже немножко чахотка.

По всем статьям вдова была женщина приятная: красивая и

в теле. Кажется, она жила в своих просторных комнатах одна: вышла открыть нам она сама.

— Я ждала вас, Кончецьоне, — сказала она. — Я узнала, что к вам приехал сын. Это он?

В доме от самой двери сильно пахло так, как будто всю осень здесь держали бродящее винное сусло. В городах Сицилии это запах всех небедных обиталищ, надоедливый и не пьянящий, как бы воплощенный спутник темноты.

Вдова приняла нас, шумно смеясь, у нее был пышный бюст, роскошный голос, звучавший из-под тяжелых грудей, черные глаза и черные волосы.

— Думаю, я правильно сделала, что привела его, — сказала мать. — Красивый у меня сын, правда?

— Высокий и красивый, — сказала вдова. — Достоин вас, Кончецьоне.

Шумно смеясь, вдова ввела нас в комнаты, в которых пахло, как в прихожей и на лестнице, винным суслом и еще немного корицей; комнаты были старые, почти без мебели и без украшений, кроме веерами прищипленных открыток по стенам; в доме оказалось темновато, света было мало, потому что балконы выходили на запад, в замкнутый садик.

Мать не переставала говорить обо мне:

— Как вы узнали, что он приехал? Наверно, я бы сделала неправильно, если бы не привела его.

— О, — сказала вдова, — я бы умерла от любопытства, если бы не познакомилась с ним.

Она хотела во что бы то ни стало угостить нас марсалой и печеньем. От накрытого стола было видно все жилище, две или три комнаты со множеством распахнутых дверей, со столом в каждой комнате и с огромной кроватью под красным покрывалом в одной.

— Вот так, — говорила вдова. И шумно смеялась. У меня она расспрашивала о Северной Италии. А у матери спросила, во все ли дома она водила меня, пока делала обход.

— Конечно, — сказала мать. Она была довольна, что навязала мое присутствие стольким семействам, но прибавила, что хотела показать мне, как хорошо она делает уколы. И вдова

смеялась. И смотрела на меня — мужчину — своими черными глазами. И роскошным голосом из-под тяжелых грудей говорила: — Только не на мне, Кончецьоне!

— Что не на в а с ? — сказала мать.

— На мне вы ему не сможете показать, как хорошо колете.

— Почему ? — сказала мать.

Вдова опять засмеялась, сказала:

— При нем я не дам вам делать укол!

— Почему ж е ? — спросила мать, вооружившись всей своей волей, чтобы навязать мое присутствие. — Почему ж е ? — повторила она.

— Не следует этого делать, Кончецьоне, — ответила вдова. — Здесь не следует. Комнат много, ему не придется выходить на улицу, чтобы обождать.

— Дело не в э т о м , — сказала мать. — Я хочу, чтобы он видел, как я делаю уколы.

— Он уже насмотрелся, — ответила вдова. — Зачем ему смотреть еще здесь ? — Она со смехом обернулась ко мне и сказала: — Правда, синьор Сильвестро?

— Да, наверное, — сказал я. Но мне нравилось, что на моем присутствии настаивают.

— Что д а ? — спросила в свою очередь м а т ь . — Ты не хочешь видеть, как я делаю синьоре укол?

— Хочу, конечно, — ответил я.

— В о т , — сказала мать. — Он хочет смотреть.

— Но, Кончецьоне, — воскликнула вдова, — я не хочу, чтобы он меня видел.

— Ах вот ч т о ! — засмеялась м а т ь . — Но ведь он мой сын. Все равно что я сама...

— Но ведь он молодой человек ! — сказала вдова.

А мать с к а з а л а : — По-вашему, он в жизни не видел женщины?

Вдова больше ничего не сказала. Она засмеялась и сдалась. Указав на меня, она проговорила со с м е х о м : — Он только того и ждет, хитрец такой!

И растянулась на кровати. Мать обнажила ее.

— Но это насилие, Кончецьоне ! — говорила вдова, смеясь в подушки.

Мать со вкусом вогнала ей иглу в тело, потом победоносно взглянула на меня и, указав мне на это тело, произнесла: — Смотри, как хороша!

Вдова барахталась в постели и говорила, смеясь: — Ах, Кончецьоне!

— А ведь ей под сорок! — сказала мать.

Я отпустил вдове комплимент.

Вдова вскричала: — Ах, синьор Сильвестро! — Она напряглась, хотела подняться, но мать удержала ее и еще выше подняла ей подол.

— Подождите, пока он посмотрит, — сказала она. А потом мне: — Гляди, Сильвестро!

— Но это насиле! — говорила вдова и барахталась, пытаясь подняться. В конце концов мать отпустила ее, и вдова, смеясь, с раскрасневшимся лицом, сказала мне: — А вы большой хитрец, синьор Сильвестро!

Она сердечно попрощалась с нами, и мы с матерью вышли на улицу, к мелодии вольнонок, и оказались лицом к лицу с заходящим солнцем. Мы смеялись, и мать сказала, что вдова так долго ломалась оттого, что была на содержании и чувствовала себя в двусмысленном положении.

— Но вообще-то она добрая женщина, — сказала мать. — К тому же хорошо сложена, правда? — прибавила она и подмигнула мне, пока мы переходили улицу. — Да, — сказал я. — И тело у нее свежее, — прибавила мать. — Да, — сказал я.

А мать сказала: — Для своего возраста она сохранилась лучше многих в деревне.

И я сказал: — Наверное.

А мать сказала: — Но есть и лучше ее. — И продолжала: — Я была лучше. Да и сейчас, когда мне пятьдесят, я не думаю, чтобы очень проигрывала по сравнению с нею.

— Нет, конечно, — сказал я.

— Я все еще молодцом, правда? — сказала мать.

— Конечно! — сказал я. — У тебя ни одного седого волоса.

И мать сказала: — Посмотрел бы ты, какая я свежая там, под платьем.

А я сказа л : — Ты можешь собой гордиться.

— Еще б ы ! — воскликнула м а т ь . — Я твоему отцу говорила: ты должен гордиться, что у тебя жена такая свежая в этом возрасте... Но он ничего не понимает в женщинах. В этих своих стихах только и говорит что о тонких руках, о глазах и прочее в таком роде.

— По-моему, ни о чем другом в стихах он не мог говорить, — сказал я.

— Верно, но он мог бы принять в расчет все остальное, прежде чем говорить. Если бы он принял в расчет все остальное, он бы мною гордился. Мой отец, он гордился и мною, и другими дочерьми... Он говорил, что ни у одной девушки нет такой стройной спины, как у нас, во всей Сицилии... Да, он-то гордился мною, мой отец!

XXX

Поднявшись выше, лицом к заходящему солнцу, мы подошли к дверям дома вроде тех, что были у вдовы, только поменьше и не таким пышным, со сломанным молотком на одной из створок.

— Теперь пойдем к моей подруге, — сказала мать.

— Ей тоже надо сделать укол? — спросил я.

— Д а , — ответила м а т ь . — Я хочу, чтобы ты посмотрел и ее, какая она свежая... Может, еще свежее, чем вдова... А ей тоже под сорок.

— И тоже вдова? — спросил я. — То есть я имею в виду, она тоже была на содержании у знатного господина?

— Н е т , — сказала м а т ь , — она женщина замужняя, у нее четверо детей...

Через источенную червями дверцу мы вошли в прихожую, и здесь на лестнице застоялся запах винного сусли, присущий всем зажиточным домам в Сицилии. Но в доме пахло меньше, и все было старое: мебель, плитки пола, занавески, покрывала на постелях, все слишком старое и мертвое, и пылью тянуло сильнее всего.

— Зачем ей делать уколы? — спросил я. — Она больна?

— Н е т , — ответила м а т ь . — Она думает, у нее малокровие.

— И она позволит, чтобы ты делала укол на моих глазах? — сказал я.

— А как же? — сказала мать.

— Если она не хочет, не настаивай, — сказал я.

— Наверняка захочет, — сказала мать.

Нас ввел в дом мальчик лет пяти, тот, что открыл нам двери. Еще двое детей вышли нам навстречу, одному было, наверно, шесть лет, другому восемь или девять, оба с длинными волосами и в таких длинных фартуках, что нельзя было понять, мальчики это или девочки. Они орали: «Кончецьоне, Кончецьоне!» — и тащили нас по всему дому, взад и вперед по темноватым комнатам; потом с террасы нам навстречу вышла девушка лет пятнадцати-шестнадцати и тоже принялась повторять: «Кончецьоне, Кончецьоне!»

Последней навстречу нам вышла сама синьора — подруга матери и тоже сказала: «Кончецьоне, Кончецьоне!»

Это была женщина невысокого роста, на вид вовсе не малокровная, а даже круглая и аппетитная, с красивым молодым телом. Синьора набросилась на мать и поцеловала ее, обвив ей руками шею, как будто они не виделись несколько месяцев, среди скакавших и вопивших ребят, и сказала:

— Я знала, что ты приведешь сына!

— Ты узнала, что он приехал? — сказала мать.

— Да, — ответила подруга матери, — я сразу же узнала и подумала, что ты его ко мне приведешь. Какой красавец!

Дети орали, девушка говорила, в комнате, где мы были, стояла высоченная двухспальная кровать, и мать сказала подруге: — Давай прыгай на кровать!

— Ты как, при нем будешь делать? — сказала подруга матери.

— А что? Ты хочешь выставить его за дверь? — воскликнула мать.

— Я этого не говорю, — ответила подруга матери.

Все дети были в комнате, и девушка тоже, и синьора подруга сказала: — Я немного его стесняюсь. Он такой большой.

Мать засмеялась, и подруга засмеялась с нею. Девушка тоже засмеялась.

— Это я родила его таким большим, — сказала мать. — Так что нечего тебе стесняться.

Тогда подруга матери бросилась на кровать.

— Я думаю, он видел столько женщин! — сказала она и сама задрала подол. Ожидая, пока мать ее уколёт, она добавила: — Я думаю, он видел женщин аппетитнее меня.

Дети с криком скакали вокруг, и мать, пока готовилась сделать укол, сказала: — Ты что, боялась, что он тебя захочет?

Она засмеялась, и девушка тоже засмеялась, и подруга матери тоже, пока дети скакали вокруг, засмеялась в подушку и сказала: — Нет, Кончецьоне, я отлично знаю, что гожусь ему в матери.

Тогда я сказал: — По-моему, дело не в годах.

У нее было красивое тело, и я хотел сделать ей комплимент. И она закричала: — На что это он намекает?

И мать закричала: — Ты что, намекаешь, что хочешь ее?

— А как же иначе? — сказал я.

— О! — воскликнула подруга матери со смехом.

— О! — воскликнула мать со смехом.

Девушка смеялась вместе с ними, укол был сделан, подруга матери встала, чтобы сказать, грозя мне пальцем под самым носом: — Знаете, кто вы такой? Вы нахал!

Едва мы вышли, мать спросила: — Ты в самом деле захотел ее?

— А как же? — сказал я.

— О! — воскликнула мать. И засмеялась. — Женщина, которая на десять лет старше тебя! — Потом добавила: — И вдову ты хотел?

— Конечно! — ответил я. — Еще больше...

— О! — воскликнула мать. И, засмеявшись, сказала: — Если бы я знала, ни за что бы не позволила тебе смотреть.

Но в душе она ликовала, как будто празднует победу. С ведущей вверх улицы мы вышли на подобье площадки, откуда открывался вид на всю деревню и на заходящее солнце.

Мать посмотрела на солнце, потом спросила меня: — Когда ты в первый раз увидел, как сложена женщина?

XXXI

Просторный холодный воздух, пронизанный солнцем, был по-прежнему полон мелодией волюнок, теперь она была живая, близкая; не превращенная ни в облако, ни в снег, и еще был перезвон колокольчиков на шеях коз, не редкое позвякивание, а полнозвучный перезвон, как будто позади домов шло стадо за стадом.

— Когда в первый раз? — сказал я и задумался, стараясь что-нибудь вспомнить, чтобы ответить матери.

— Да, в первый раз увидел, как сложена женщина, — сказала мать.

Я старался вспомнить. Вспоминать было радостно и легко.

— По-моему, я всегда знал, как сложена женщина, — сказал я.

— Даже в десять лет, когда был еще совсем малышкой и прыгал на ходу с поезда? — воскликнула мать. — Да, — сказал я. — В десять лет я отлично знал, как сложена женщина.

— И в семь лет? — воскликнула мать. — И в семь лет, когда ты был совсем еще карапузом и сидел на коленях у моих подруг?

— Думаю, что да, — сказал я. — И в семь лет. Где мы жили, когда мне было семь?

Мать сосчитала.

— Это был первый год войны, — сказала она. — Мы жили в Терранове. Путевой дом был в километре от деревни.

— В Терранове? — сказала я.

Я прочитал там «Тысячу и одну ночь» и еще много книг, старинных повестей, старинных путешествий — в семь, в восемь, в девять лет, — и Сицилия была тоже такая, вроде «Тысячи и одной ночи»: старые селенья, деревья, дома, старинные люди, увиденные сквозь книги. Потом, став взрослым, я это забыл, но оно оставалось во мне, я мог вспоминать и находить вновь. Счастлив тот, кому есть что найти!

Великая удача — читать в детстве книги. Двойная удача — читать книги о древних временах и древних странах, книги по истории, книги о путешествиях и особенно «Тысячу и одну ночь». Человек может вспоминать о прочитанном почти как

о пережитом, в нем история всех людей, всего мира живет вместе с собственным детством, Персия — в семь лет, Австралия — в восемь, Канада — в девять, Мексика — в десять, библейские иудеи с Вавилонской башней и царем Давидом — зимой, когда исполнилось семь, калифы и султанши — в феврале или в сентябре, летом — великие войны с Густавом-Адольфом и Сицилия-Европа, в Терранове, в Сиракузах, а между тем каждую ночь поезда увозят солдат на войну, большую, как все войны вместе.

Я имел счастье много читать в детстве, в Терранове. Сицилия означала для меня также Багдад, и Дворец слез, и пальмовый сад. Там я читал «Тысячу и одну ночь» и другие книги, в доме, где было много диванов и девочек — дочерей какого-то отцовского приятеля, и я вспоминаю женскую наготу как наготу султанш и одалисок — зримую, осязаемую, цель и смысл мира.

— Да, в семь-то лет я особенно хорошо знал, как сложена женщина, — сказал я. — Особенно хорошо? — сказала мать.

— Лучше всего, — сказал я. — И знал, и видел. У меня всегда стояло перед глазами, как сложена женщина.

— Что ты имеешь в виду? — воскликнула мать. — Ты об этом думал?

— Нет. Не думал. Знал и видел. Вот и все. Довольно?

— Кого видел? — спросила мать.

— Каждую женщину. Это было так естественно для меня. И никакая не испорченность.

Так оно и было. Это не была испорченность. Но была женщина. В семь лет человек не знает зол мира, не знает горя, безнадежности, его не мучит беспредметная ярость, но он знает женщину. Никогда существо мужского пола не знает женщины так, как в семь лет и раньше. В его глазах она не облегчение, не радость и не шутка: она — непреложность мира, бессмертие.

— Однажды, когда мне было семь лет, — рассказывал я матери, — дочка наших друзей заболела и умерла. Она была вроде твоих больных, не знаю, смиренная или гордая, я не переставал ходить к ним в дом и часто целыми часами просиживал у ее

постели. Я знал ее давно; она играла со мной, сажала меня на колени, переодевала при мне рубашку. Когда она заболела, каждый день приходила женщина делать ей уколы, а я был там и все видел, как сегодня видел вдову и твою подругу. Это было иначе, конечно. Ни о каком желании тут нельзя и говорить. А однажды она мне сказала: «Я умру».

— И что тогда? — воскликнула мать. — Ничего, — сказал я.

— Как ничего? — воскликнула она. — Это была одна из дочек Аладино, наших друзей, красивая девушка.

— В этом доме были красивые девушки, верно? — спросил я.

— Да, — рассказала мать. — Их отец ходил на Мальту и обратно на судах с грузом канифоли, иногда какая-нибудь из дочек ездила с ним. Потом одна осталась на Мальте, вышла замуж за золотых дел мастера... А другая вышла замуж за маклера. А третья умерла. — Мать закончила рассказ и спросила: — Ну и что? Ты говорил, когда она умерла...

— Я сказал, — снова начал я, — что, когда она умерла, я не перестал ходить к ним в дом. Вместо нее я смотрел на сестер.

— Тебе не жалко было, что она умерла? — спросила мать.

— Не знаю, — сказал я. — Остальных я тоже видел голыми... Никогда больше это не было так красиво.

— Как? — воскликнула мать. — Ты никогда не видел, чтобы женщина была сложена так же хорошо, как эти Аладино?

— Я не об этом говорю, — сказал я.

— А твоя жена? — воскликнула мать. — Разве она хуже, чем Аладино? Кого ты взял в жены? — Я не об этом говорю, — сказал я. — Мало же ты видел женщин! — воскликнула мать. — Я не об этом говорю, — сказал я в третий раз.

И мать сказала: — Пошли, теперь мы отправимся к синьорине Эльвире. Посмотришь, как может быть сложена девушка в двадцать лет.

Она ускорила шаг и, опередив меня, пошла среди встречных людей и коз, под огромным и красным заходящим солнцем, среди торжествующего бляенья волюнок. При этом она говорила: — Я всегда думаю, что мои сыновья, наверно, не видели ничего подобного, когда делаю уколы синьорине Эльвире.

Часть четвертая

XXXII

Но я уже был по горло сыт этими больными и этими женщинами и не подчинился матери, не захотел идти с нею к синьорине.

Когда мы подошли к ее дому на середине застроенного склона, я сказал: — Подожду тебя здесь.

— Что за разговоры? — прикрикнула мать.

Она оглянулась с видом рассерженной матери, как будто собиралась дать мне затрещину, но обнаружила перед собою не мальчика, а мужчину под тридцать, почти незнакомого, и заговорила, закричала. «Дурак!» — кричала она, но я взял верх, потому что на самом деле не хотел подниматься в дом, колесо путешествия покуда остановилось во мне. Зачем мне смотреть еще на одну женщину? Или еще на одного больного. Для чего? Для чего это нужно мне? Для чего им?

Смерть и бессмертие — я знал их; что Сицилия, что остальной мир — одно и то же. Я посмотрел на богатый дом, подумал о женщине, которая охотно обнажит тело для материнской иглы, для моего взгляда, для мужчины; я отказался от мысли, что она более бессмертна, чем любая другая, чем любой больной или умерший, и уселся на придорожную стенку.

— Подожду тебя здесь, — сказал я матери еще раз.

Ожидая, я увидел, как из долины поднялся бумажный змей, и, проследив глазами за его полетом в светлую высь, спросил себя, почему, в конце концов, мир не всегда такой, как в семь лет, не всегда «Тысяча и одна ночь». Я слышал волынки, колокольчики коз и голоса, звучавшие с уступов крыш и из долины, и много раз задал себе этот вопрос, пока следил за змеем в воздухе. В Сицилии его называют «летучим драконом», для сицилийского неба он что-то вроде Китая или Персии: сапфир, опал и геометрия. Следя за ним, я не мог не спрашивать себя, почему вера семилетнего не остается с человеком навсегда.

Или она была бы опасна? Для семилетнего каждый предмет — чудо, обнаженность всех вещей, и еще женщина поддер-

живает в нем уверенность, так же как мы поддерживаем ее в женщинах, сотворенных из нашего ребра. Смерть существует, но не убавляет уверенности, и ничто не наносит ей ущерба в «Тысяче и одной ночи» его мира. Мальчику только и нужно что бумага и ветер, у него одна потребность: запустить змея. Он выходит и запускает его, и змей возносит его крик, и мальчик на длинной невидимой нитке ведет его через небесные сферы: так его вера питается уверенностью и торжествует. А позже — что делать ему с уверенностью? Позже он узнает о том, что мир терпит обиды, узнает безжалостность, и рабство, и несправедливость людей друг к другу, узнает, как земную жизнь лишают святости в ущерб роду человеческому и миру. Что бы он делал тогда, если бы сохранил уверенность? «Что бы я делал?» — спрашивает себя человек. «Что бы я делал, что бы делал?» — спрашивал я себя.

Змей пролетел, я оторвал взгляд от неба и увидел точильщика, который остановился перед домом.

XXXIII

Улица, открытая в сторону долины, была залита солнцем, и точильщик со своей тележкой поблескивал во многих местах, хотя сам казался черным — до того были ослеплены светом мои глаза.

— Точить ножи-ножницы! — кричал он в окна дома. Его голос звучал резко, бился о стекла и о камень, как птица, и я заметил, что и сам он вроде дикой птицы, на голове у него один из тех уборов, какие попадаются в полях у пугал. — Есть что поточить?

Казалось, он обращается ко мне, и я встал со своей стенки и пошел через улицу на его голос.

— Я вам говорю, приезжай! — крикнул он.

У него были большие, разбитые ступни, а сам он как будто нахохлился над своим снарядом, на пробу вертя колесо взад и вперед. — Вы ничего не привезли поточить в эту деревню? — крикнул он.

Во мне вновь закрутилось колесо путешествия, и я стал рыться в карманах, сперва в одном, потом в другом, а когда

взялся за третий, точильщик сказал:

— Вам не нужно наточить меч? Не нужно наточить пушку?

Я достал перочинный ножик, он выхватил его у меня из рук, с остервенением принялся точить и при этом глядел на меня, черный, как будто продымленный.

Я спросил его: — Не очень-то много есть чего точить в этой деревне?

— Да, стоящего м а л о , — отвечал точильщик. Он не переставая глядел на меня, а его пальцы, зажавшие маленькое лезвие, плясали над вихревым вращением колеса; он был улыбчивый, молодой — симпатичный тощий малый под старой шляпой огородного пугала. — Стоящего м а л о , — сказал о н . — Такого, чтобы не зря трудиться. И чтобы получить удовольствие.

— Можно хорошо точить ножи, — сказал я. — Можно хорошо точить ножницы.

А точильщик с к а з а л : — Ножи? Ножницы? Вы думаете, в этом мире существуют еще ножи и ножницы?

И я с к а з а л : — Я думал, что да. Разве в этой деревне нет ни ножей, ни ножниц?

Глаза точильщика сверкали, как сталь ножей, когда он смотрел на меня; его разинутый рот на черном лице издавал чуть хриплые насмешливые звуки.

— Ни в этой деревне, ни в других, — прокричал о н . — Я обхожу несколько деревень, точу для пятнадцати или двадцати тысяч душ и ни разу не видел ни ножей, ни ножниц.

А я с к а з а л : — Что же вам дают точить, если вы не видите ни ножей, ни ножниц?

И точильщик с к а з а л : — Об этом я всегда их спрашиваю. Что вы мне даете точить? Почему не дадите мне меч? Почему не дадите мне пушку? И смотрю им в лицо, в глаза, вижу, что все, что они мне дают, не заслуживает зваться даже гвоздем.

Он замолчал и перестал смотреть на меня, склонился над колесом, стал быстрее давить на педаль, сосредоточенно и остервенело точил больше минуты. Потом с к а з а л : — Какое удовольствие — точить настоящее лезвие. Вы потом можете метнуть его — и оно как копьё, можете схватить его — и оно как кинжал. Ах, если бы у всех было по настоящему лезвию!

Я спросил: — Зачем? Вы думаете, что-нибудь произошло бы?

— Я бы всегда мог получить это удовольствие — точить настоящее лезвие, — отвечал точильщик.

Он снова сосредоточенно и остервенело точил несколько секунд, замедляя колесо, и прибавил вполголоса: — Иногда мне кажется, довольно было бы, чтобы у всех были зубы и когти и их давали бы точить. Я наточил бы их, как зубы гадюки, как когти барса.

Он посмотрел на меня, и подмигнул мне, с искорками в глазах, и зашептал мне на ухо, смеясь, а я стал шептать ему на ухо, и так мы шептались, пересмеивались и хлопали друг друга по плечу.

XXXIV

Потом точильщик вернул мне лезвие, острое как стрела и кинжал, я спросил его, сколько это стоит, он сказал мне, что сорок чентезимо, я вытащил из кармана четыре монеты по десять и положил на полочку его снаряда.

Он открыл ящичек, и я увидел, что тот разгорожен на три отделения, с монетами по десять и по двадцать чентезимо в каждом — всего лир на пять, на шесть. Я сказал: — Не жирно на сегодня!

Но он уже меня не слушал, я заметил, что губы его шевелятся, бормочут. Он был поглощен чем-то, вертел мои монеты в пальцах, и постепенно его бормотание стало громким. Я услышал: «Четыре на хлеб... Четыре на вино...» Потом вдруг: «А усатому?»

Он начал снова, чуть громче: «Четыре на усы... Четыре на хлеб...» Потом вдруг: «А вино?»

Снова он начал считать, еще громче: «Четыре на вино... Четыре на усы...» Потом вдруг: «А хлеб?» Тогда я сказал: — Почему вы не сложите все вместе и не поделите потом?

— Слишком рискованно, — сказал точильщик. — Иногда вдруг все проем, иногда все пропью... — Он почесал в затылке и вернул мне десять чентезимо, глядя в небо. — Держите. Хотел взять с вас на два сольди дороже, но господь не хочет. Из-за этих двух сольди и пошла вся путаница.

Я со смехом сунул в карман десять центезимо, а он опустил взгляд с небес на землю, удовлетворенно распределил оставшиеся три монеты по отделениям ящика и сказал: — Две на хлеб, две на вино и две на усы.

Замахав освободившимися руками, он схватил свою тачку за оглобли и двинулся вверх по улице, освещенный солнцем, которое почти совсем уже село. Я без колебаний последовал за ним: — Вы идете наверх? Я с вами.

Но он, хотя и довольный тем, что решил свою задачу, не был больше весел, даже опечалился и умолк. Он шел, глядя в воздух, и поводил справа налево и слева направо головой под старой шляпой огородного пугала. И весь он был немного как пугало — из-за черного лица, из-за блестящих глаз, из-за огромного, как у всякого исхудавшего человека, рта и еще из-за пиджака в заплатках, рваных штанов, опорков на ногах и из-за угловатых движений длинных ног и локтей.

— Вы простите меня, — сказал он вдруг. — Я думал, это можно, потому что вы приезжий. — А, пустяки, — сказала я. — На два сольди больше или меньше...

И он сказал: — Дело в том, что никогда не знаешь, как рассчитывать с приезжими. Может быть, в других местах точильщики берут по восемь сольди, а ты рискуешь оказаться в убытке, если возьмешь шесть, как по-вашему?

Мы еще немножко прошли по улице в молчании, он — немного ободрившись, я — развеселившись; солнце зашло, перезвон долетал с вершины громоздящихся холмом домов.

Потом точильщик прочистил горло: — Мир так хорош... — И я прочистил горло: — Я тоже так думаю. — И точильщик сказал: — Свет, тень, холод, тепло, радость, не радость... — И я: — Надежда, милосердие... — И точильщик: — Детство, молодость, старость... — И я: — Мужчины, дети, женщины... — И точильщик: — Красивые женщины, уродливые женщины, слава богу, плутовство, честность... — И я: — Память, воображение...

— Как бы это сказать? — воскликнул точильщик.

— Да нет, ничего, — сказал я. — Хлеб и вино.

И точильщик: — Колбасы, молоко, козы, свиньи, коровы... мыши. — И я: — Медведи, волки... — И точильщик: — Птицы.

Деревья и дым, снег... — И я: — Болезнь, выздоровление. Я знаю, знаю. Смерть, бессмертие и воскресение.

— А - а ! — крикнул точильщик. — Что т а к о е ? — спросил я.

— Это необычайно! — сказал он . — А-а! О-о! И-и-и! У-у! Э-э-х ! — А я с к а з а л : — Наверное.

И точильщик: — Плохо, когда миру наносят обиды.

Я ничего ему не сказал, я снова был занят теми же мыслями, что и до встречи с ним, когда в небе пролетал з м е й , — как будто теперь таким змеем стал он. Я посмотрел на него и остановился, он остановился тоже и спросил м е н я : — Простите, но если человек знакомится с другим и ему приятно это знакомство, а потом берет на два сольди или на две лиры дороже за услугу, которую должен был бы оказать даром, так как ему приятно новое знакомство, — кто этот человек: принадлежит он миру или наносит ему обиду?

Я рассмеялся. И смех мой был так естествен!

А он с п р о с и л : — Так он не наносит миру обиды? Он принадлежит миру?

Я продолжал тихонько смеяться, потому что это было естественно. И он засмеялся тоже. Сняв с себя шапку, он поклонился : — Спасибо, д р у г ! — И снова засмеялся.

И я засмеялся снова. А он с к а з а л : — Иногда путаешь мелочи мира и нанесенную миру обиду . — Потом снова зашептал мне на у х о : — Будь у людей ножи и ножницы...

Он шептал мне на ухо минуту или две, но я ничего не шептал ему в ответ, я чувствовал себя так, будто заговорил мой змей с неба.

XXXV

Мы поднялись на самый верхний конец деревни, где открывалось что-то вроде площадки; больше не было ни солнца, ни козьих колокольчиков, ни волюнок, не было ни матери, ни женщин, а точильщик указывал мне на какую-то мастерскую.

— Хотите познакомиться с человеком, у которого есть ш и л о ? — спросил он.

Над каменной аркой мастерской была конская голова из раскрашенного дерева, на притолоках по бокам от входа и на

распахнутых створках двери висели веревки и кожи с помпонами, бубенцами и разноцветными кисточками.

Точильщик оставил свою тачку на площади, вскочил прежде меня на порог и втащил меня вовнутрь.

— Езекиеле! — кричало он. — Езекиеле!

Внутри был длинный, совершенно темный коридор, веревки и кожи, помпоны, бубенцы и кисти, уздечки, седла, кнуты, словом, всякого рода сбруя и конские украшения висели, как и снаружи, по обеим стенам и даже на потолке.

— Езекиеле! — снова крикнул точильщик, пока мы шли по коридору.

Сзади кто-то догнал нас бегом, мягко и сильно наткнулся на нас, и мальчишеский голос заорал: — Это Калоджеро, дядя Езекиеле!

Мы по-прежнему шли по узкому проходу, среди сбруи, конских украшений, седел, уздечек, кнутов и прочего. Мы шли на ощупь, в полной темноте, спускаясь в чистое сердце Сицилии. Здесь, в этом сердце, хорошо пахло: из-за невидимых веревок и кож здесь пахло свежей пылью, землей, еще не запятнанной всеми теми обидами, которые наносят на ней миру... «Ах, — думал я, — ах, если бы и вправду в это верить!» Казалось, мы не спускаемся под землю, а идем по пути, прочерченному змеем, и в глазах у нас только он и больше ничего, а вокруг темнота, а в нас то же сердце, что было в детстве, сицилийское и принадлежащее всему миру.

Наконец мы увидели впереди огонек, огонек стал светом, в котором приобрел очертания человек, сидевший перед крохотным столиком с уздечками и кнутами. На голову ему падали тени висящих уздечек и кнутов.

— Езекиеле! — окликнул его точильщик.

Человек обернулся, лицо у него оказалось пухлое, маленькие глазки его блестели, словно говоря: «Да, мой друг, мир терпит обиды, но не здесь, глубоко!» Мелодичным голосом он спросил: — Тебе дать шило, Калоджеро?

Тут он увидел меня, его маленькие глазки расширились, стали тревожными, пока точильщик, мой летучий змей, не сказал: — Сегодня не нужно, Езекиеле! Я нашел друга, у

которого есть клинок.

— Правда! — воскликнул человек и встал: низкорослый, с пухлым телом, белокурыми кудрями, с ямочками на щеках и маленькими глазками, которые снова оживились и снова как бы говорили: «Мир терпит обиды, но не здесь, глубоко!»

Он поискал — может быть, стулья — за занавесями веревок, помпонов и кож, пробудил повсюду звуки бубенчиков, потом снова сел, ничего не найдя и не сделав.

— Скажи ему, что мне очень приятно, — сказал он точильщику.

Возле столика была деревянная стремянка, которая терялась среди висящей на потолке сбруи, и точильщик оперся на нее рукой.

— Ему тоже очень приятно, — ответил он.

— Очень приятно, — сказала я.

Человек изучал меня, улыбаясь, уверенный, что мне очень приятно, но не потому, что я это сказал, а потому, что это сказал точильщик. С точильщиком он и продолжал разговаривать.

— По-моему, все видно, — сказал он, еще поизучав меня.

— Я сразу увидел, — ответил точильщик. — Тут не ошибешься.

И человек, которого звали, как пророка, Езекиилем, сказал: — Нет, тут не ошибешься.

А точильщик сказал: — Он страдает.

И человек по имени Езекииль сказал: — Да, он страдает.

А точильщик сказал: — Ему больно за мир, который терпит обиды. Не за себя.

И человек по имени Езекииль сказал: — Конечно, не за себя. Каждый страдает за себя, и все-таки...

И точильщик сказал: — И все-таки нет ни ножей, ни ножниц, никогда ничего нет... — И человек по имени Езекииль: — Ничего, никто ничего не знает, ничего не замечает...

Они замолчали и переглянулись, и глаза человека по имени Езекииль наполнились грустью, глаза точильщика стали еще блее на черном лице, как будто расширившись от испуга.

— Да... — сказал точильщик.

— Да... — сказал человек Езекииль.

Они сблизили головы и стали что-то шептать друг другу на ухо над крохотным столиком, потом точильщик, подавшись назад, сказал: — Но у нашего друга есть маленький клинок. И ему больно за мир, который терпит обиды.

— Да, — сказал человек Езекииль. И он смотрел на меня, его маленькие глазки блестели и были грустны, как будто говорили: «Много, много обид терпит мир, много обид, больше, чем мы сами знаем». Потом он обернулся и опять посмотрел на точильщика.

— Ты сказал ему, как мы страдаем? — спросил он.

— Я начал говорить, — ответил точильщик.

И человек по имени Езекииль велел: — Скажи ему, что мы страдаем не за с е б я . — Он это з н а е т , — ответил точильщик.

А человек Езекииль сказал: — Скажи ему, что нам нет причины страдать за себя: ни невзгоды нас не давят, ни голод, и все-таки мы страдаем, очень страдаем!

И точильщик ответил: — Он знает это, знает!

А человек Езекииль сказал: — Спроси его, действительно ли он это знает.

И точильщик сказал мне: — Вы это знаете, ведь правда?

Я утвердительно покачал головой. Человек Езекииль встал, хлопнул в ладоши, позвал: — Племянник Акилле!

Из щати сбури высунулся мальчик, который толкнул нас в коридоре.

— Почему, — спросил человек Езекииль, — ты не с нами и не слушаешь наших слов?

Мальчик был очень маленький, с белокурыми кудряшками, как у д я д и . — Я все слышал, дядя Езекиеле, — ответил он.

Человек Езекииль одобрил его слова и снова обратился к точильщику: — Значит, ваш друг знает, что и нам больно за мир, который терпит обиды? — З н а е т , — сказал точильщик.

Человек Езекииль стал подводить итог: — Мир велик и прекрасен, но терпит много обид. Все страдают, но каждый за себя, никому не больно оттого, что мир терпит обиды, и он терпит их все снова и снова.

Он глядел вокруг, говоря это, и его маленькие глаза замкну-

лись печалью, потом оживились и стали искать точильщика.
— А ты сказал нашему другу, — спросил он, — что я пишу о страданиях мира?

На крохотном столике в самом деле лежало что-то вроде тетради, рядом с чернильницей и пером.

— Ты сказал ему это, Калоджеро?

Точильщик отвечал: — Я как раз собирался сказать.

— Ладно, нашему другу ты можешь об этом сказать. Скажи ему, что, подобно древнему отшельнику, я провожу здесь дни над этими хартиями и пишу историю обид, которые терпит мир. Скажи ему, что я страдаю, но пишу, что пишу обо всех обидах и о каждой, и обо всех обидчиках, о рожах, у которых и прошлые и будущие обиды вызывают смех.

— Ножи, ножницы, ко п ь я, — закричал точильщик.

Человек Езекииль положил одну руку на голову мальчику, другой указал на меня.

— Видишь этого нашего друга? — сказал он. — Как и твой дядя, он страдает. Ему больно за мир, который терпит обиды. Учись, племянник Акилле, и последи за мастерской, пока я пойду с ним и Калоджеро выпить стаканчик вина у Коломбо.

XXXVI

Мы поднялись наружу: воздух был темен, звонили вечерние колокола.

Точильщик схватил свой передвижной станок за оглобли и стал толкать его, шагая вперед, я зашагал с ним, а человек Езекииль — между нами, маленький, семенящий, укутанный в шаль.

«Мир терпит много обид, много обид», — говорили его печально смотрящие вокруг глаза. Потом они остановились на катящемся станке точильщика.

— Что это у тебя, Калоджеро, на твоей мельнице? — спросил он, останавливаясь.

— Чт о т а м ? — спросил точильщик, тоже останавливаясь.

— Это бума ж к а, — сказала.

Точильщик зарычал.

— Чертовы сви н ь и ! — рычал он. — Опять!

— Опять штраф? — спросил человек Езекииль.

И точильщик прорычал: — Опять!

Он поднял руки к небу, два или три раза странно подпрыгнул, стал кусать себе пальцы, сорвал с себя шляпу огородного пугала, швырнул ее на землю.

— Вот так! Вот так! — повторял он. — Третий раз за месяц! Ножницы, шила, ножи, копья, аркебузы! Мортиры, серпы, молоты! Пушки, пушки, динамит, сто тысяч вольт!

Человек Езекииль поднял руки жестом Навина, останавливающего солнце. И точильщик остановился.

— Друг! — сказал человек Езекииль.

— Да, друг, — ответил точильщик.

— Отчего мы страдаем? — спросил человек Езекииль.

— Отчего? — отозвался точильщик. — Оттого, что род человеческий терпит обиды и горе.

И человек Езекииль сказал: — Значит, мы страдаем не за себя. Нам больно за мир, который терпит обиды. Но не за себя... И точильщик повторил: — Конечно, не за себя.

Он умолк, схватил за оглобли свою мельницу, снова стал толкать ее, и мы все втроем зашагали дальше.

— Но как мне заплатить? — пробормотал точильщик. Потом, как будто услышав что-то новое и тревожное, он остановился, потряс свою тачку и прислушался.

— Я не слышу денег, — сказал он.

Были поздние сумерки, почти темно, и на черноте лица его глаза блестели как наточенные острия ножей. Он открыл ящичек, заглянул в него, открыл еще больше, совсем вытащил его, перевернул. Ничего не упало, и человек Езекииль сказал:

— Вспомни, что мы страдаем не за себя, а от боли мира, который терпит обиды.

— Я помню, — пробормотал точильщик.

И человек Езекииль спросил:

— Сколько там было?

И точильщик ответил: — Был хлеб, было вино и был налог, два тридцать, два тридцать и еще раз два тридцать. Небогато за день.

— Что же, — сказал человек Езекииль, — вино ты получишь

от меня сейчас у Коломбо, а хлеб, с твоего разрешения, я могу предложить тебе сегодня за моим столом...

— Да, — подхватил точильщик, — а голова у меня покрыта досточтимой шляпой моего деда, спину мою защищает благословенный пиджак моего отца, прикрывают срам штаны преподобного Орацио, ноги... Добры люди друг к другу, очень добры! А ночлег мой — у Гонсалеса, в теплом помещении с коровами. Зачем один человек знает три ремесла? Чтобы жить милостыней, как повелел Назарянин.

— Сын мой, — сказал человек Езекииль, — подумай, что деньги взял у тебя, может быть, нищий бродяга... Чего доброго, он много дней не ел и не пил. Ты можешь быть доволен, что дал ему средство утолить голод и жажду.

Точильщик промолчал и стал толкать тачку, вздыхая на ходу. Потом заговорил, тоже на ходу:

— Правильно! Верно! Разве это те обиды миру, от которых нам должно быть больно? Это — мелочи, обычные между бедняками мира. О, ножи! О, ножницы! Совсем не от этого мир терпит обиды, совсем от другого!

— Совсем от другого! — пробормотал человек Езекииль.

— От другого, от другого! — выкрикнул точильщик. — А мелочи — это мелочи, пустяковые шутки, которые человек устраивает человеку в кругу этого мира. Кто не устраивал шуток ближнему своему, пусть бросит первый камень... Я сам сегодня сыграл шутку с нашим другом.

— А х т а к ? — воскликнул человек Езекииль и засмеялся.

— Да, шутку на два сольди! — сказал точильщик и тоже засмеялся.

Я засмеялся с ним, о шутке было рассказано, и теперь мы все трое смеялись как подружившиеся дети.

— Но этот бродяга мог бы оставить мне денег на налог, — сказал точильщик. Он перестал смеяться, глаза его сверкали, как взрывчатые острия ножей. — О, ш и л а ! — рычал он. — А если этот бродяга и был тот самый стражник и живодер, который наложил на меня штраф? Уже не первый раз мой дневной заработок исчезает тогда, когда появляется повестка.

Человек Езекииль схватил его за руку и остановил.

— Совпадение! — сказал он. — Не от таких обид, которые терпит мир, нам больно.

XXXVII

Ясен был холодный воздух, колокола уже не летали по небу, а умолкли в своих гнездах. Но цвета предметов на тесной улочке еще можно было различить, я увидел и закричал: — Смотрите! Знамя!

— Знамя? — переспросил точильщик.

— Какое знамя? — сказал человек Езекииль.

— Над тою дверью, — сказал я.

А человек Езекииль сказал: — Так это Порфирио! Торговец тканями!

Оба моих спутника рассмеялись, а я вспомнил сицилийский обычай: вывешивать над дверьми текстильных лавок куски ткани в виде вывески. Какого цвета полотнище, неважно: оно могло быть зеленое, могло быть желтое, могло быть синее; где висит полотнище, там, значит, лавка, там торгуют тканями. Но здесь материя была красная, и точильщик сказал, обращаясь ко мне: — У Порфирио как раз найдется пара ножниц.

— Ах вот что, — сказал я.

— Да, — сказал точильщик, — и когда порой мне становится неловко, что я все время надоедаю Езекиеле с шилом, я одалживаю ножницы у Порфирио.

Тут человек Езекииль предложил: — Может, мы кстати представим Порфирио нашего друга.

— Верно, — сказал точильщик.

Они повели меня в лавку, а тачка с точилом осталась опять на улице; впрочем, лавка была неглубокая, что-то вроде ниши, в которой куски материи были сложены высокими стопами на стульях возле самой двери.

— Входите, пожалуйста, — пригласил нас ясный голос из темноты.

— Добрый вечер, — раздались приветствия, — добрый вечер.

Голос ответил: — Добрый вечер. Я как раз собрался закрыть дверь. — А тот кусок, что снаружи, вы собирались оставить? — спросил точильщик.

— Нет, я его как раз собирался снять, — ответил голос. А человек Езекииль сказал: — Нынче опять красный. И голос ответил: — Да, я уже несколько дней вешаю красный. А завтра поменяю на синий.

И человек Езекииль сказал: — Конечно! Ведь мир-то пестрый! Голос отозвался: — Пестрый! Большой! Красивый!

— Но терпит много обид, много обид! — пробормотал человек Езекииль.

А точильщик сказал: — Поговори с ним о нашем друге, Езекиеле!

— Каком друге? — спросил голос. В темноте позади этого голоса обозначились очертания человека, он зашевелился, и, казалось, зашевелилась вся тьма: такой это был великан. Красивый, теплый голос где-то рядом с подошедшим ко мне ближе в слабом свете двери мужчиной спросил еще раз: — Какой друг? Вот этот синьор?

— Этот синьор, — ответил человек Езекииль. — Как и ты, Порфирио, как точильщик Калоджеро, как я, как многие другие в мире под луной, он страдает, ему больно за мир, который терпит обиды.

— А! — воскликнул необъятный человек.

Он подошел еще ближе, и теплый бриз его дыхания взлохматил мне волосы на голове.

— А! — воскликнул он снова. С высоты спустилась его широкая ладонь, отыскала мою и охватила ее в пожатье, несмотря ни на что, очень мягком. — Очень приятно, — проговорил он у меня над головой. И переспросил, обращаясь к остальным: — Вы говорите, он страдает?

Его дыхание у меня в волосах было как горячее сирокко, его рука с мягкой силой удерживала мою, а сам он повторял: — Очень приятно... Спасибо...

— Пожалуйста... — ответил я. — Не за что...

— О! — сказал человек. — Очень даже есть. Такая честь для меня! — А я сказал: — Это для меня честь.

А человек сказал: — Нет, для меня, синьор. — И, опять обратившись к остальным, он переспросил, ероша дыханием мои волосы: — Значит, он страдает?

— Да, Порфирио, — ответил ему человек Езекииль. — Страдает, и не за самого себя.

— Не из-за мелочей, — пояснил точильщик. — Не оттого, что его оштрафовали, не оттого, что попытался сыграть шутку с ближним...

— Нет, — сказал человек Езекииль. — Он страдает от всеобщего горя. — А точильщик добавил: — От боли мира, который терпит обиды.

В темноте человечие по имени Порфирио прикасался теперь к моей голове, к лицу и восклицал: — А! Понимаю и ценю.

— Ножи-ножницы! — завопил точильщик.

— Ножницы? — тихо повторил великан по имени Порфирио. Он был сгустком темноты, из которого, подобно благодатному Гольфстриму, исходило обнимавшее нас тепло, с ветром на вершине, с глубоким, нежным голосом. — Ножи? — повторил он. И глубоким, нежным голосом сказал: — Нет, друзья, не ножницы, не ножи нужны и не прочее в этом роде: нужна живая вода.

— Живая вода? — пробормотал точильщик.

— Живая вода? — пробормотал человек Езекииль.

А Порфирио продолжал: — Я вам говорил много раз и опять говорю. Только живой водой можно смыть обиды, нанесенные миру, и утолить жажду рода человеческого, который их терпит. Но где живая вода?

— Где есть ножи, там и живая вода, — сказал точильщик.

— Где чувствуют боль мира, там и живая вода, — сказал человек Езекииль.

Мы были теперь погружены в ночь, голоса стали тише, никто не мог бы услышать наших слов. Мы стояли тесно, сблизив головы, и Порфирио был как огромный пес сенбернар, который всех — и самого себя тоже — согревает своим теплом. Он долго говорил о живой воде; и человек Езекииль говорил тоже, и точильщик тоже, и слова были тьмою во тьме, а мы — тени, мне казалось, что я вошел в круг беседующих духов. Потом голос Порфирио снова стал громким: — Пошли к Коломбо, выпьем по стаканчику. Я угощаю.

Он сдернул полотнище, вывешенное над дверью, запер лав-

ку и повлек нас своим теплым течением по улице.

XXXVIII

Только у Коломбо он обрел очертания и краски. Оказалось, что ростом он в два метра, в плечах — метр, одет в темную овчину, на голове у него полно волос, седых пополам с черными, глаза — синие, борода — каштановая, а руки — красные; словом, настоящий пес сенбернар с великодушным взглядом.

— Привет, Коломбо! — сказал он с порога.

Тачка точильщика тоже вошла с нами; кабачок освещался газом, посетители пели:

— Кровь святого Тарабумбия...

Коломбо — тот, что был за стойкой, — носил желтую косынку, по-пиратски повязанную вокруг головы.

— О ле! — ответил он.

А человек Езекииль сказал: — Вина! Эти синьоры — мои гости. — Твои? — мягко воспротивился Порфирио. — Это я всех пригласил.

Поющие сидели на скамье у стены, стола перед ними не было, в руках они держали маленькие железные кружки и в такт песне все вместе качали головой и туловищем.

— Но я пригласил раньше, — объяснил Езекиеле.

— Вот вино, — сказал Коломбо и поставил на стойку четыре полных кружки. И прибавил с улыбкой: — Пусть это будет угощение синьора Езекиеле. А потом может угостить синьор Порфирио.

— Правильно, — сказал человек Езекииль.

— Понимаю и ценю, — сказал Порфирио. И поднял кружку. — Весьма польщен.

Человек Езекииль поклонился. Я тоже поклонился. А точильщик крикнул «ура».

Посреди кабачка без столиков горела жаровня, перед ней, присев на корточки, грели руки два молодых батрака. Коломбо черпал из бочки, наполнял все новые кружки, люди на скамейке негромко пели, раскачиваясь, и от пола, от стен, от темного свода исходил вековой запах вина, вина и еще вина. Все прошлое вина в человеке окружало нас в этот миг.

— Чему ты кричишь ура? — спросил человек Езекииль.

— Ура вот этому! — провозгласил точильщик, поднимая кружку.

— Этому? — сказал Порфирио. — Чему этому?

Он выпил, и все выпили, и я тоже, и пустые кружки звякнули о мокрый цинк стойки. Коломбо подошел от бочки с новым вином.

— Мир! — крикнул точильщик. — Земля, лес, лесные карлики; прекрасная женщина, свет, солнце, ночь и утро; запах меда, любовь, радость и труд; и сон без обид, мир без обид.

— Кровь святого Тарабумбия... — хрипло пели на скамейке.

Мы только начали по второй, стены и воздух оказались глухи к пьяному разговору.

— Я не верю, — сказал Порфирио.

— Но все-таки, — сказал Езекиеле.

— Нет, нужна живая вода, — сказал Порфирио.

— Оле, живая вода! — закричал Коломбо. — Вот живая вода! Разве это не живая вода? Получайте, люди: радость, жизнь, вода живая!

Порфирио покачал огромной головой, но выпил, и все выпили, и я тоже, и двое батраков подле жаровни выпили жадным взглядом, а люди на скамейке напевали в пустые кружки.

— Деревья, свежие фиги, сосновая хвоя, — продолжал точильщик, — звезды в сердцах тех, кого мы чтим, мирра и ладан, сирены в морской пучине; ноги на свободе, руки на свободе, грудь на свободе, волосы и кожу овевает ветер свободы, бег и борьба — все свободное. У-э-э! О-о! А-а-а!

— А-а-а! А-а-а! А-а-а! — пели на скамейке.

— А! А! — произносили двое подле жаровни. Вошли еще люди. Коломбо крикнул: «Оле!» — и налил вина; он тоже пил, и под мрачным сводом было только переходившее из века в век обнаженное вино, и обнаженные люди, окунувшиеся в это прошлое вина, и голый винный смрад, нагота вина.

— Пей, друг! — сказал мне точильщик и протянул третью кружку. Тогда Порфирио заметил:

— Но наш друг — приезжий. — Да, приезжий, — подтвердил человек Езекииль. — Калоджеро познакомился с ним первым.

— У него есть клинок, — вскричал точи́льщик, — у него есть живая вода. Ему больно оттого, что мир терпит обиды, а мир велик, мир прекрасен, мир — это птицы, в нем есть молоко, золото, огонь, гром, наводнение. Живая вода — тем, у кого есть живая вода!

— Не такой уж я чужак, — ответил я Порфирио.

— Не такой? — сказал Езекиеле.

— Как не такой? — спросил Порфирио.

Понемногу отпивая из третьей кружки, я объяснил, почему я не такой уж чужак, а маленькие глазки Езекиеле заблестели удовлетворенно.

— Надо же! — воскликнул Порфирио.

— А вы не знали, что он сын Феррауто? — сказал карлик Коломбо. Точи́льщик крикнул: — У этой Феррауто много ножей! Да здравствует Феррауто!

Все допили третью кружку до дна, только я был еще на середине, и точи́льщик выплеснул остатки моего вина на пол, говоря, что я должен начать по четвертой с ними.

— Я знал вашего дедушку, — сказал Порфирио.

— А кто его не знал? — крикнул точи́льщик. — У него-то была живая вода. — Да, — сказал Порфирио, — он заходил со мною сюда, мы пили вместе...

— Питух он был что надо! — сказал карлик Коломбо.

На скамейке у стены распевали совсем уже печально:

— Кровь святого Тарабумбия...

Люди пели и не переставая качали головой и туловищем, они были печально обнажены в материнской утробе нагого вина.

— Ему тоже было больно оттого, что мир терпит обиды, — сказал человек Езекииль.

— Терпит обиды? Какие обиды терпит мир? — крикнул бесстыжий карлик, приставленный к вину.

— И вашего отца я знал, — сказал Порфирио.

— Мы были друзья, — добавил Езекиеле. — Он был поэт и актер на шекспировских ролях. Макбет, Гамлет, Брут... Однажды он устроил нам тут представление.

— Великолепный случай! — крикнул точи́льщик. — Ножи и трезубцы! Раскаленное железо!

Все отпили из четвертой кружки, только я держал кружку в руке непригубленной, слушая над вином о моем отце.

— Мы заходили сюда выпить вместе, — сказал Порфирио.

Бесстыжий гном заметил: — Это представление он дал здесь. Явился в красном плаще и сказал мне, что я король Дании.

— А мне сказал, что я Полоний, — смиренно пробормотал человек Езекииль. Потом добавил: — Ему было очень больно оттого, что мир терпит обиды.

Тут точильщик снова крикнул «ура!».

И Порфирио снова спросил его: — Чему ты кричишь «ура»?

— Ура! Ура! — кричал точильщик.

— Ура! — закричал пьяный.

— Ура! — закричал еще один пьяный.

— Ура! — смиренно пробормотал человек Езекииль.

— Ура, ура, ура, ура, — запели на скамейке печальные раскачивающиеся люди. Так и те, что страдали из-за своих собственных бед, и те, чья боль была за обиды мира, сидели вместе в обнаженной гробнице вина и могли уподобиться духам, покинувшим наконец этот мир страданий и обид.

Сидевшие на полу подле жаровни молодые батраки, у которых не было вина, плакали.

XXXIX

— Еще по кружке мне и моим друзьям, — распорядился Порфирио. Он расстегнул огромную овчину, в которой жил, показав свой торс. И человек Езекииль развязал окутывавшую его шаль.

— Это будет последняя, — сказал Порфирио, — но еще по одной мы выпьем.

Он выпил шесть кружек; Езекиеле и точильщик выпили по пять, у меня еще была почти полна четвертая. Огромный, краснорукий и краснолицый, с бородой наполовину белой, наполовину каштановой, с волосами наполовину белыми, наполовину черными, Порфирио царил в этом винном подземелье. Он был человек, а не принадлежность вина, как гном Коломбо, был великим королем-завоевателем, пребывающим за тридевять земель отсюда, в завоеванной стране вина. Он отри-

цал, что вино и есть живая вода, и не забывал о мире.

— Не обольщайтесь, не обольщайтесь, — говорил он.

— Ч е м ? — спрашивал точильщик.

А человек Езекииль обводил все вокруг маленькими глазками, внезапно погрузнев. Казалось, его глаза кричат «нет!». И тогда Порфирио, схватив красной рукой седьмую кружку, стал уверять, что там, где есть вино, нет больше мелочей этого мира.

— А обиды, которые терпит мир? Страшные обиды, которые наносят роду человеческому и м и р у ? — спрашивал человек Езекииль.

Я сам, повторяю, не допил все еще четвертой кружки. Что-то остановило меня в самом начале, я не мог больше пить, не осмеливался углубляться в жалкую, чуждую земли наготу вина.

— Пей, д р у г ! — подзадоривал меня Порфирио.

Я старался, я брал в рот глоток, и вино казалось вкусным, само по себе, пока было во рту, но выпить его я не мог. Все прошлое рода человеческого, накопившееся во мне, чувствовало, что это — не живой сок лета и земли, но печальный-печальный призрак из пещер столетий. Чем иным могло оно быть в мире, который непрестанно терпит обиды? Поколения за поколениями пили, топили свое горе в вине, искали в вине права обнажиться, каждое поколение выпивало наготу жалкого вина прошедших поколений и горе, утопленное в нем.

— Кровь святого Тарабумбия... — пели печальные люди на скамейке.

Каждый, кто был в кабачке, теперь уронил голову, стал печален. Точильщик был печален, хотя и с угрозой во взгляде. Езекиеле был печален, с испугом во взгляде он озирался вокруг, боясь вновь увидеть все многообразие обид, наносимых миру.

В глазах моего отца, одержимого Шекспиром, он был Полонием. А Порфирио? Кем мог быть Порфирио в глазах моего отца — Гамлета? Он один остался безмятежен, потому что у него не было обольщающих иллюзий, и все же он нес тяжелую ответственность. Он смотрел на нас: на меня, на Езекиеле, точильщика, на пьяных, еще державшихся на ногах у стойки, на молодых батраков, плакавших на полу перед жаровней, и на людей, распевавших на скамейке. Распевая, они печально

раскачивались, так же раскачиваются некоторые, когда плачут, и песня их казалась хриплой жалобой. Порфирио долго смотрел на них, потом снова смотрел на Езекиеле, на меня, на точильщика, на двух плачущих батраков, которые так ничего и не выпили за весь вечер, и я подумал, что он, может быть, удручен тем, что увлек вслед за собой столько людей в убожество завоеванного им подземелья. Но он был безмятежен и уединился в сверхъестественном общении с гномом Коломбо.

Он больше ни на кого не смотрел, на лице его была улыбка, он ничего не видел перед собой, кроме обнаженного счастья Коломбо, приставленного к вину гнома. Он лежал в материнской утробе вина, обнаженный в блаженном сне, хотя и стоял на ногах — смеющийся заснувший патриарх, который спит из века в век человеческий, отец Ной от вина.

Я узнал его и поставил кружку, не в это хотелось бы мне верить, тут не было мира земного, и я ушел, пересек улочку, дошел до места, где жила мать.

XI

Дом был на краю склона, по которому спускались в долину крыши. Я поднялся по наружной лесенке, оказался на площадке. Но я сознавал, что лучше было бы, если бы мне не надо было входить, искать пищи и ночлега, лучше было бы сидеть в поезде, — и остановился.

Холод усилился, ниже горели огни, выше тоже, маленькими разбросанными кучками по четыре, по пять; воздух был синий. В небе лучилась льдинка большой покинутой звезды.

В Сицилии была ночь, земля покоилась, мир, натерпевшийся обид, был окутан темнотой, рядом с людьми горели огни, закрытые в тех же комнатах, и все мертвые, все убитые поднялись и размышляли, сидя на своих могилах. Я думал, и огромная ночь у меня внутри была ночью в ночи. Эти огни подо мной и надо мной, этот темный холод, эта льдинка звезды в небе — все это не было единственной ночью, но бесконечным множеством ночей; и я думал о ночах моего отца, моего деда, ночах Ноя, когда человек обнажен во хмелю, беспомощен, унижен, когда он меньше человек, чем младенец или мертвец.

Часть пятая

ХЛІ

Тут мне пришло в голову, что название улицы поблизости — улица Прекрасных Дам — звучит слишком уж по-ночному мрачно для Сицилии: ведь это значило улица Призраков.

Человек, оставшийся нагим и беспомощным, шел ночью и встречал призраков — злых Прекрасных Дам, и те приставали к нему и насмехались над ним, порой даже били — тени человеческих поступков, вышедшие из прошлого обиды, нанесенные некогда миру и роду человеческому. Уже не мертвецы, а тени, нечто не принадлежащее к земному миру. И человек, беззащитный от вина или еще от чего-нибудь, непременно доставался им в добычу.

Он говорил: это короли, герои. И давал им завоевать свою безоружную совесть, принимал старинные обиды за подвиги.

Но кто-нибудь — Шекспир или мой одержимый Шекспиром отец — овладевал ими и входил в них, баламутил в них грязь и сны, принуждал их исповедаться в своих прегрешениях и страдать за человека, плакать о человеке, говорить в защиту человека, становиться символами освобождения людей. Кто-нибудь — во хмелю, а кто-нибудь и нет. Великий Шекспир — в чистоте отданных бесстрашным размышлениям ночей, а мой маленький отец — в сумасбродной тьме своих ночей, выросших под сенью вина.

В том-то и беда моего отца, что он был наг и сумасброден во хмелю — бедняк Ной, чью наготу подобало прикрыть сострадательным покровом, а не человек знамений и предвестий. Я, по крайней мере, не знал этого.

Долго ожидаемая нами ночь льнула к окнам, захватывала круглую равнину без деревьев, без листвы. Появлялся отец, уже одетый для сцены, появлялись его помощники.

— Готово? — спрашивал он. И снимал со стены свой рожок начальника команды обходчиков. Мы, участники «Гамлета», бесшумно поднимались на дрезину. Мать садилась посредине

на стул, мы усаживались вокруг у ее ног, отец брался за руль, а остальные двое толкали. Так и каталась дрезина — днем ради земляных работ на линии, ночью ради «Гамлета». Два человека толкали ее несколько мгновений, потом начинался спуск, они вскакивали, и больше разговоров не было; дрезина катилась своим ходом к залу ожидания какой-нибудь станции, если была зима, а если лето — к равнине у полотна, где под открытым небом должен был состояться спектакль — перед женщинами, пришедшими с полей, среди огней, среди криков, и где мой одержимый отец должен был подняться на подмости из шпал.

Ах, ночь в те давние времена!

С опоясавших землю параллелей лаяли на горизонт собаки; семь невидимых небес, горы Млечного Пути наполнялись цветами жасмина. Звезд было десять, пятнадцать, но мы чувствовали аромат миллионов. И вначале отец дудел в рожок.

Потом о чем-то предупреждал на ухо и кричал: — Кто идет?

Это относилось к какой-нибудь опередившей нас дрезине.

«Полоний», — слышалось в ответ. Или: «Фортинбрас». Или: «Горацио».

Все это были нагие, сумасбродные люди, которые завладевали призраками, движимые хмелем.

— О мир, мир, сколько обид ты терпишь! — громко крикнул я при этой мысли. Если я и ждал ответа, так только от памяти, а ответ послышался из земли подо мною. Какой-то голос сказал:

— Гм!

XLII

«Еще один точильщик», — подумал я и посмотрел вниз, но ничего не увидел. В холодной тишине были только те же самые огни.

— Кто там? — крикнул я.

— Г м , — опять отозвался голос.

Ища, я взгляделся получше и обнаружил, что огни были не те обыкновенные, которые горят в запертых комнатах, обитаемых людьми. Те огни, видимо, были потушены. Новые горели красноватым светом под ночным небом и были как фонари железнодорожников, расставленные на земле по долине.

Но я искал того, кто сказал «ГМ!».

— Г м , — сказала я . — ГМ!

— Г м , г м , — ответил страшный голос.

Я решил спуститься поискать его и, спустившись, оказался среди огней, похожих на брошенные фонари: то были огни умерших.

— Ах, так я на кладбище, — сказал я.

— Г м ! — отозвался голос.

— Вы кто, могильщик? — спросил я.

Голос ответил: — Нет, я служу в солдатах.

Я старался увидеть его, голос звучал совсем рядом; но огни умерших ничего не освещали вокруг.

— Странно! — сказала я.

Солдат засмеялся: — Странно?

— Вы что, тут на часах? — спросил я.

— Н е т , — сказал солдат, — я отдыхаю.

— Здесь, между могилами? — воскликнул я.

— Отличные могилы, очень удобные, — сказал солдат.

А я сказал: — Вы, наверно, пришли вспомнить ваших умерших. — Н е т , — ответил солдат. — Скорее уж я вспоминаю моих живых. — А , — сказала я . — Наверно, вашу девушку.

А солдат сказал: — Всех понемногу. И мать, и братьев, и товарищей, и товарищей моих товарищей, и отца в «Макбете».

— Вашего отца в «Макбете»? — воскликнул я.

— Конечно, с и н ь о р , — ответил солдат. — Он, бедняга, обычно играет королей. — Не может бы т ь ! — воскликнул я.

— Это т а к , — сказал солдат. — Они думают, что боги прощают королям то, чему ужасаются у простых смертных.

— Как это может бы т ь , — воскликнул я с н о в а . — И мой отец т о ж е . . . — Н у в о т , — сказал солдат. — Все отцы таковы. А мой брат Сильвестро...

Я почти завопил: — Ваш брат Сильвестро?

— Зачем вы кричите? — спросил солдат. — Что тут странного, если у меня есть брат Сильвестро?

— Н и ч е г о , — ответил я . — Но Сильвестро зовут меня.

— Н у и ч т о ? — сказал солдат. — Имен мало, а людей много.

Я спросил: — Вашему брату тридцать лет?

— Нет, синьор, — ответил солдат. — Он мальчик, ему лет одиннадцать-двенадцать. В коротких штанишках, с густыми волосами, влюбленный. Он любит, любит этот мир. Он — как я сейчас... — Как вы? — пробормотал я.

— Да, — ответил солдат. — Нашей любви никто не может повредить, он — мальчик, а я...

— А вы что? — пробормотал я. Солдат засмеялся: — Хм...

Я протянул руку: — Где вы? — Здесь, — сказал солдат.

Я пошел на голос с протянутой рукой, но ни к чему не прикоснулся. Несветящие огни умерших тянулись уже длинной дорогой за моей спиной, но много огней было вокруг и впереди.

— Где вы? — спросил я снова.

— Здесь, здесь, — ответил солдат.

— Здесь, с другой стороны? — воскликнул я.

— Вот именно, — сказал он. — С другой.

— Как так? — воскликнул я. — Значит, слева?

— Г м, — сказал солдат.

Я остановился. Может быть, я достиг уже дна долины: выше меня тоже горели теперь несветящие огни умерших.

— Короче, — закричал я, — есть вы или нет?

Солдат ответил: — Я и сам себе задаю иногда этот вопрос. Есть я или нет? Во всяком случае, я могу вспоминать. И видеть...

— А что еще? — спросил я. — Хватит и этого, — сказал солдат. — Я вижу брата и хочу поиграть с ним.

— А! — воскликнул я. — Вы хотите поиграть с одиннадцатилетним мальчиком?

— Конечно, — ответил солдат. — Он старше меня. Если ему одиннадцать лет, то мне семь.

— Как? — закричал я. — Вы солдат и вам семь лет?

Солдат вздохнул и сказал с упреком: — Полагаю, я достаточно намучился, чтобы заслужить это.

— Что? — спросил я. — Быть солдатом?

— Нет, — ответил он. — Быть семилетним. Играть с братом.

— Так вы играете с братом? — спросил я.

— Да, синьор, — ответил он. — С вашего позволения, играю.

— А еще, — спросил я. — Что вы еще делаете?

— Много чего, — ответил он. — Разговариваю с девушкой.

Подрезаю лозу. Поливаю сад. Бегаю... — Но вы забываете, что находитесь среди могил, — сказал я.

— Нисколько, — ответил он. — Я отлично знаю, что нахожусь и здесь тоже, и ничто не может меня обидеть... На этот счет я спокоен.

— Одним словом, вы счастливы, — заметил я.

Он снова вздохнул: — Как я могу быть счастлив? Вот уже тридцать дней как я лежу на поле, где снег и кровь.

— Что за чепуху вы говорите! — воскликнул я.

На этот раз солдат ответил мне не сразу, я успел услышать мгновение великого молчания, которое было между ним и мною.

— Г м , — произнес солдат. — Г м , — произнес я.

— Простите, — сказал солдат. — Вы правы. Это я так выражаюсь фигурально.

Я с удовлетворением вздохнул и машинально протянул опять руку: — Где вы? — Здесь, — сказал солдат.

XLIII

Как в первый раз, я несколько минут искал его справа и слева, потом отказался от попыток.

— Слишком темно, — сказала я. — Да, — ответил он.

Я уселся на могиле, рядом с огоньком умершего.

— Лучше сесть. — Лучшее, — сказал солдат. — Тем более что будет представление.

— Представление? — воскликнул я. — Какое представление?

— Разве вы пришли не на представление? — сказал солдат.

И я сказал: — Ничего не знаю ни о каком представлении.

А он сказал: — Что же, посидите и увидите. Вот они подходят... — Я: — Кто? — Солдат: — Все они: короли и их противники, победители и побежденные...

Я: — Вы правду говорите? Я никого не вижу.

Солдат: — Это, наверно, из-за темноты.

Я: — Тогда зачем же они дают представление?

Солдат: — Они должны... Ведь они принадлежат истории.

Я: — А что они представляют? — Солдат: — Те деянья, которые их прославили. — Я: — Как? Каждую ночь?

Солдат: — Всегда, синьор. Пока Шекспир не переложит в

стихи все про них и не отомстит за побежденных, а победителей не простит. — Я: — Как это? — Солдат: — Я сказал.

Я: — Но тогда это страшно. — Солдат: — Это ужасно.

Я: — Они, наверно, очень страдают. Ненаписанные Цезари. Ненаписанные Макбеты. — Солдат: — И их свита, их сторонники, солдаты... Мы страдаем, синьор.

Я: — И вы тоже? — Солдат: — Я тоже.

Я: — Но вы-то почему? — Солдат: — Я тоже представляю.

Я: — Представляете? Вы сейчас представляете?

Солдат: — Все время. Вот уже тридцать дней.

Я: — Но разве вы не говорили, что играете с одиннадцатилетним братишкой? — Солдат: — Да. И еще я разговариваю с девушкой, подрезаю лозу, поливаю сад...

Я: — Так как же?

Солдат не ответил.

— Как же? — настаивал я.

Солдат ответил: — Гм!

— Гм! Что это за «гм»! — крикнул я.

Солдат опять не ответил.

— Вы слышите? — крикнул я. — Слышу, — ответил солдат.

Я: — Я боялся, что вы ушли. — Он: — Нет, я здесь.

Я: — Мне не хочется, чтобы вы ушли.

Он: — Я не ухожу.

— Вот и хорошо, — сказал я. И заколебался. Сказал «хорошо» еще раз. И опять заколебался. И опять сказал «хорошо». И еще раз заколебался. Наконец, спросил: — Это очень плохо?

— Увы, да, — ответил он. — Связанный, как раб, каждый день снова и снова пронзаемый на поле, где снег и кровь.

— А! — крикнул я. — Так вот что вы представляете!

— Именно, — ответил солдат. — Я — частица этой славы.

И я сказал: — А много вам приходится страдать?

— Много, — сказал он. — Тысячекратно.

Я: — Тысячекратно?

Он: — От каждого напечатанного слова, от каждого произнесенного слова, от каждого миллиметра воздвигнутой бронзы.

Я: — Вы плачете от этого? — Он: — Плачем.

— И все-таки, — сказал я, — вы играете с братишкой,

разговариваете с девушкой, делаете все остальное... Разве это неутешение? — Не знаю, — ответил солдат.

— Этого мало? — сказал я.

— Не знаю, — снова ответил солдат.

— Вы от меня что-то скрываете. Казалось, вы спокойны и ничто не может обидеть вас.

— Так оно и есть, — ответил солдат.

— Значит, — крикнул я, — неправда, что вы плачете!

— Увы! — вздохнул солдат.

Смирным голосом я спросил его: — Могу я что-нибудь сделать, чтобы вас утешить?

Он опять принялся твердить, что не знает.

Я подсказал ему: — Может быть, сигарету? — И стал искать по карманам сигареты, добавив: — Хотите, попробуем?

— Попробуем, — ответил он.

Я протянул сигарету: — Вот!

Но сигарета осталась у меня в руке. Я окликнул его:

— Где вы? — Я здесь, — сказал солдат.

Я встал, сделал шаг вперед, потом еще шаг, держа сигарету, которая так и оставалась у меня в руке.

— Короче, хотите или нет? — крикнул я.

— Хочу, хочу, — ответил солдат.

Я крикнул: — Тогда держите! — Солдат не ответил.

— Держите! Где вы? — кричал я.

Солдат больше не отвечал мне. А я все кричал, я пустился бегом вон из долины, я оказался опять на площадке материнского дома — и увидел, что кладбище со всеми его огнями глубоко подо мной.

XLIV

Я проспал весь остаток этой ночи и забыл все, но когда проснулся, день еще не наступил.

Серый пепел окутывал Сицилию во льду гор, солнце еще не вставало и как будто не собиралось вставать. Была ночь без ночного покоя, без сна; по воздуху летели вороны, с крыш, из садов время от времени доносились выстрелы.

— Что это? — спросил я. — Четверг, — ответила мать.

Она была спокойная, снова набросила на плечи одеяло, обула мужские башмаки; но настроение у нее было неразговорчивое.

— Сегодня я уезжаю, — сказала ей.

Мать пожала плечами, на голове у нее был тот же пепел, что окутывал Сицилию.

— Что это там? — крикнул я. Поднявшись, я вышел на площадку, и мать медленно двинулась следом, как будто надзирающая за мной.

Бух! — ударило ружье.

— В кого это стреляют? — спросил я.

Мать остановилась в дверях и смотрела вверх, где летали вороны.

— В них? — спросил я. — Да, в них, — ответила мать.

Снова раздался ружейный выстрел, разорвав пепельный воздух, вороны закаркали, неуязвимые.

— Смеются! — заметил я.

— Что, с тебя еще хмель не сошел? — сказала мать.

Я посмотрел на нее; она стояла рядом и, повторяю, как будто бы надзирала за мною.

— А я был пьян? — спросил я.

— Что, даже не помнишь? — сказала мать. — Пришел точь-в-точь как твой отец, когда бывал в хмелю. Мрачный. И бросился на мою кровать, заставил меня спать на диване.

Снова раздался ружейный выстрел.

— Не понимаю, что с вами происходит, — продолжала мать. — Твой дед, когда выпьет, бывало, поет и шутит.

Из какого-то сада послышался четвертый выстрел, за ним — пятый, но вороны летали такие же неуязвимые в пепельном небе, не меняя пути полета, и каркали, насмехаясь.

— Зачем эти вороны? — воскликнул я.

Мать стала смотреть внимательней, словно ожидала, что одна из птиц упадет.

— Они вправду по ним стреляют? — спросил я.

И шестой, и седьмой стрелок также промазали, и мать разлилась.

— Все вхолостую, — сказала она. — Им не попасть.

Она вошла в дом и выбежала с двустволкой, начала и сама стрелять: бух, бух!

Но ничто не изменило недостижимого полета воронов.
— Смеются, — заметила.

Бух, бух, б у х ! — был ответ матери.

И тут от подножья лестницы прозвучал голос толстой женщины, она принесла матери весть, прокричала между выстрелами и карканьем воронов: — Счастливая мать!

XLV

Не произнеся ни слова, мать пошла в кухню и уселась там.

Жаровня посредине уже пылала, мать медленными движениями взяла в руки каминные щипцы, помахала ими в воздухе, потом сунула их в золу и медленно перевернула жар, потом встала и подошла к печке, и я решил, что она ничего не поняла.

— Ты поешь со мною перед отъездом? — спросила она.

— Как хочешь, — сказал я. — Как хочешь.

Я решил, что она ничего не поняла, и был даже расположен что-нибудь сделать для нее, хотя мое путешествие в Сицилию было окончено. Милая старая женщина, счастливая мать! Она спросила, хватит ли мне, как вчера, одной селедки или я хочу еще цикория. Спросила, не выпью ли я покуда чашку кофе, и стала готовить его. Я наблюдал, как она хлопочет с кофейником у печки, видел, что она отгораживается от меня своими хлопотами, как отгораживается всякая женщина, и содрогнулся ее одиночеству, и моему, и одиночеству отца, и одиночеству брата, погибшего на войне.

— В котором часу ты уезжаешь? — спросила она.

Сицилия стала неподвижна, я страдал от этого и сказал, что хотел бы успеть на сегодняшний вечерний поезд из Сиракуз. Она молола кофе, высчитывала за этим делом поезда и автобусы. Потом сказала:

— Надеюсь, хоть ты не пойдешь в солдаты.

Тут я осознал, что она все поняла.

— О! — воскликнул я. А она продолжала:

— Приедешь еще как-нибудь?

— Ты довольна, что я у тебя побывал? — спросил я.

И она сказала: — Конечно. Приятно поговорить с сыном пятнадцать лет спустя.

Она кончила молоть кофе, шипенье выкипающей воды вновь привлекло ее к печке, к тем предметам, что заполняли ее одиночество. Потом она добавила:

— Годы приходят и уходят, сыновья приходят и уходят. — За окном гомонили вороны, и мать сказала: — Эти вороны!

— Что это их сюда притягивает?

Мать пожала плечами: — Иногда они появляются.

После недолгого молчания я спросил: — Кто?

Мать посмотрела на разбросанные по кухне предметы нашего детства, потом вдаль, потом ближе, еще ближе и ответила:

— Либорио. — Третий из нас? — сказала я.

— Он еще не выезжал, не видел света и был доволен, когда его призвали. Он присылал мне открытки — какие места в мире повидал. Три в прошлом году, две в этом. Красивые города! Ему, я думаю, нравились.

— Города, где была война? — заметил я. — Наверно.

— И он был доволен? — крикнул я. Крикнул в голос, потом добавил: — Неплохо придумано, для мальчишек.

Мать сказала: — Не думай о нем дурно, хотя бы теперь.

— Плохо? — крикнул я. — Да что тебе взбрело в голову? Может быть, он герой!

Мать взглянула на меня так, словно я говорил с горечью.

— Нет, — сказала она. — Он был бедный мальчик. Хотел посмотреть мир. Любил этот мир.

— Почему ты так на меня смотришь? — крикнул я. — Он был храбрец. Он завоевывал. Побеждал. — Потом закричал еще громче: — Он и умер за нас. За тебя, за меня, за всех сицилийцев, чтобы все это могло продолжаться: эта Сицилия, этот мир... Он любил мир!

— Нет, — сказала мать. — Нет. Он был мальчиком, как ты. Тебе одиннадцать, ему семь лет. Ты...

— Дай мне кофе! — крикнул я.

— Хорошо, — сказала мать.

Она налила кофе в чашку и подала мне. Ставя чашку на

стол, она прибавила: — Наверное, я и так бы его не увидела. Бедный мальчик. Он любил мир.

XLVI

Я увидел, что она замкнулась в этой мысли о бедном мальчике, который любил мир, перенесла на себя свойственное каждому мальчику желание: узнать мир, пройти по красивым городам, встречать женщин. Я между тем выпил кофе, а мать взглянула на меня так, будто лицо у меня было странным, — будто, к примеру, я пил кофе со смятием, в бешенстве. Помоему, я и в самом деле не принимал ее мысли о бедном мальчике и своей собственной — о семилетнем ребенке. Я не желал, чтобы кто-то был в семь лет солдатом. Поэтому я крикнул с подлинным смятием, в подлинном бешенстве:

— К черту!

Мать снова уселась на стул перед жаровней и очень тихо заметила: — Одной только вещи я не пойму. Почему эта синьора назвала меня счастливой матерью?

Я ответил с готовностью: — Это-то понятно. Потому что его смерть — честь для тебя.

И мать сказала: — Его смерть — честь для меня?

А я сказал: — Он ведь погиб на поле чести.

Она снова посмотрела на меня так, будто я говорил с горечью. Вообще ее взгляд, как только я показывался, все время обращался на меня с этим выражением: подозрительным, упрекающим. И с упреком мать сказала:

— В этом мое счастье?

Я упрямо твердил: — Его честь — это и твоя честь. Ты его родила.

Она сказала по-прежнему с упреком: — Но теперь я его потеряла. Уж скорее следует назвать меня несчастной.

А я сказал: — Нет. Потеряв, ты обрела его. Ты счастливая.

В замешательстве мать задумалась на мгновение. Она глядела на меня с тем же недоверием и упреком. Казалось, она чувствовала себя в моей власти. Спросила: — Ты уверен, что та синьора не хотела посмеяться надо мною?

— Н е т , — ответил я, — она знала, что говорит.

— И она на самом деле думала, что я счастливая?

— Конечно, — ответил я. — Она бы хотела быть на твоём месте. — И мать сказала: — На моём месте? Как на моём?

А я сказал: — На месте матери погибшего Либорио. Она бы гордилась... — Она: — Значит, она мне завидовала...

Я: — Тебе все женщины завидуют.

Но мать все еще смотрела на меня с недоверием. Было очевидно, что она чувствует себя в моей власти. И теперь вдруг взорвалась: — Что ты такое говоришь?

— Правду, — сказал я. — Об этом в книгах написано. Ты ничего не помнишь из школьных учебников?

— Я доучилась только до третьего класса.

— Значит, ты немного проходила историю.

— Про Мадзини и Гарибальди.

— И про Цезаря, Муция Сцеволу, Цинциннату, Кориолана. Ты ничего не помнишь из римской истории?

— Помню, что сказала Корнелия, мать Гракхов.

— Вот и хорошо. Что же сказала Корнелия?

— Что ее сокровища — это ее сыновья.

— Вот видишь? Корнелия гордилась сыновьями.

Теперь мать улыбалась.

— Дурак ты, — сказала она. — Но сыновья Корнелии не умерли. — Нуда! — сказал я. — Тогда еще не умерли. Но из-за чего, по-твоему, Корнелия ими гордилась?

— Из-за чего? — переспросила мать.

А я сказал: — Она знала, что они готовы умереть. Корнелия была матерью-римлянкой.

Мать снова пожала плечами в замешательстве, глядя на меня с прежним недоверием.

— Видишь, — продолжал я, — та синьора отнеслась к тебе, как будто ты Корнелия. Разве тебе не приятно быть вроде Корнелии?

— Не знаю, — с недоверием ответила мать. И спросила: — А какой она была, эта Корнелия?

— Она была великая женщина, — сказал я, — благородная матрона.

А мать сказала: — Красивая женщина?

И я сказал: — Красивая и мудрая. Высокая. Белокурая. По моему, похожа на тебя.

— Надо же! — воскликнула мать. — А почему о ней пишут в книжках? — Это заслуга ее сыновей, — крикнул я.

— Счастливая! — воскликнула мать.

А я крикнул: — Вот видишь? Значит, ты тоже счастливая.

Мать вздрогнула: — Я? — С красным лицом, с красным одеялом на плечах, вся огонь и пламя, она стремительно воскликнула: — Ты хочешь сказать, что обо мне тоже напишут в книгах?

— Вроде того, — сказал я. — О тебе и твоём сыне. Вы оба уже вошли в книги.

Мать была взволнована. Ей не удавалось овладеть собой, недоверие ее покинуло.

— В книги? В какие книги? — крикнула она.

— В историю, — сказал я. — Ты не знала? Покинув мир, он вошел в историю. И ты с ним.

— И я с ним? — вскричала мать в глубоком волнении.

— И ты с ним, и ты с ним, — кричал я. — А по-твоему, ты все еще принадлежишь миру? Этой местности? Сицилии? — Я стал кричать еще громче: — Нет, дорогая моя. Вот увидишь, тебя вызовут и дадут тебе медаль.

— Медаль? — вскричала мать.

— Да, медаль на грудь, — кричал я. И вдруг понизил голос, продолжал спокойно: — За то, что он сделал для мира. Для городов. Для Сицилии. Медаль за его заслуги, — заключил я.

Но как раз в этот миг мать не удержалась на высоте.

— Как это может быть? — сказала она. — Он был всего-навсего бедный мальчик.

Мне стало страшно. И пришли воспоминания.

XLVII

Что значило «бедный мальчик»?

Я оглядел кухню, увидел печку и глиняный горшок на ней, подальше — дежу для хлеба, чан с водой, умывальник, стулья, стол, на стене — старые часы, именовавшиеся дедушкиными, и, глядя вокруг, я испытывал страх. Со страхом смотрел я и на мать. Завернутая в одеяло, она была среди своих вещей подобна

каждой из этих вещей: полна временем, прошлым рода человеческого, детством и так далее, мужчинами и сыновьями, а вовсе не историей. Тут и продолжится ее жизнь, она будет жарить себе селедку на жаровне, носить отцовские башмаки. Я смотрел, и мне было страшно.

И я спрашивал себя, кто же из мальчиков самый бедный.

Кто из мальчиков самый бедный?

Повторяю, я испытывал страх. А между тем стал вспоминать. Вспоминаю, я вытащил сигарету и закурил. За сегодняшний день это была первая сигарета и единственная, которая осталась у меня от хмельной ночи. Я закурил, отбросил прочь спичку и, за курением вспоминая, что это за сигарета, обнаружил, что руки у меня в слезах.

С сигаретой я вышел из дому. «Кар-кар-кар» — орали с пепельного неба вороны. Я спустился по улице, я шел по улицам Сицилии, неподвижной, переставшей быть путешествием, курил и плакал.

— А! А! Он плачет! Почему он плачет? — перекрикивались летевшие мне вслед вороны. Я продолжал идти, не отвечая, и вот вслед за мной пошла старушка в черном.

— Почему вы плачете? — спросила она.

Я не ответил и пошел дальше, я курил и плакал. И носильщик, который ожидал на площади, руки в карманах, тоже спросил м е н я : — Почему вы плачете?

Он тоже пошел за мною; все еще плача, я миновал церковь. Нас всех — и меня, и шедших за мною следом — заметил священник и спросил у старухи, у носильщика, у воронов:

— Почему этот человек плачет?

Он присоединился к нам. Нас увидели детишки и закричали:

— Смотри! Курит и плачет! Это он от дыма плачет.

Они тоже пошли за мной и понесли свою игру.

И еще за мной пошел парикмахер, и продавец дров, и оборванец, и девушка с головой, повязанной шарфом, и еще один оборванец. Они замечали меня и спрашивали: «Почему вы плачете?» Или спрашивали у тех, кто за мною шел: «Почему он плачет?» И все становились моими сопровождающими: возчик, собака, сицилийские мужчины, сицилийские женщины,

даже один китаец. «Почему вы плачете?» — спрашивали они.

Но мне нечего было им ответить. Я плакал не по какой-нибудь причине. В сущности, я даже не плакал: я вспоминал, а воспоминания выглядели в глазах других людей слезами.

Что я мог сделать? Я шел все той же улицей. И оказался у подножья обнаженной женщины из бронзы, которая была посвящена павшим, и обнаружил вокруг себя всех друзей, встреченных в эти дни, сицилийцев, с которыми я разговаривал во время путешествия.

— Есть другие обязанности, — сказал мне Большой Ломбардец. — Не плачьте.

— Не плачьте, — сказали мне товарищи по болезни.

— Не плачьте, — сказали подруги.

И тот низкорослый мой друг, с апельсинами, тоже сказал мне: — Не плачьте!

Катанец тоже был здесь и сказал мне:

— Синьор прав. Не плачьте!

— Хи-хи! — сказал старик с голосом сухой былинки.

— Но я не из-за вас плачу, — сказал я. — Я не плачу.

Я сидел на ступеньке у подножья бронзовой женщины, друзья окружали меня, думали, что я плачу из-за них.

— Я не плачу, — продолжал я. И плакал. — Не плачу. Это из меня хмель выходит.

— Что это значит? — сказал Усатый Безусому.

— Что-то за этим есть, — сказал Безусый Усатому.

— Я не плачу, — говорил я. — Ничего за этим нет.

И человек по имени Езекииль воскликнул:

— Много, много обид терпит мир!

— Но я не в этом мире плачу, — возразил я.

Вдова сказала: — Он плачет о своей матери.

Другая женщина сказала: — Он плачет о погибшем брате.

— Нет, нет, — возражал я. — У себя внутри я не плачу.

Я вообще плачу не в этом мире.

И снова я говорил, что на самом деле не плачу, говорил, что плачу ни о ком: не о Сицилии, не обо всем остальном, не о мире, — и я отпустил их, попросил уйти прочь, повторил, что это из меня выходит хмель.

Точильщик спросил м е н я : — Где это вы напились?

— На кладбище, — ответил я. — Но не нужно об этом говорить. — А, — сказал точильщик.

И я перестал курить, перестал вспоминать. Перестал плакать.

XLVIII

Только тут я поднял глаза на монумент — обнаженную бронзовую женщину.

Это была красивая молодая женщина в два человеческих роста, с гладкой бронзовой кожей, хорошо сложенная, как сказала бы моя мать, с ногами, грудями, спиной, животом, руками... У нее было все, что делает женщину женщиной, как будто она и вправду только что возникла из ребра мужчины. Даже чресла были неясно намечены; и шею ее окаймляли с чувственным изяществом длинные пряди волос, лицо улыбалось с чувственным лукавством — оттого что в ней был мед, много меда, оттого что она стоит на виду у всех, бронзовая, в два раза выше, чем нужно.

Я встал и обошел ее вокруг, чтобы лучше рассмотреть. Зашел сзади, сбоку, опять сзади. Друзья наблюдали за мною, старые подмигивали мне, женщины испытующе переглядывались, не поднимая головы, Большой Ломбардец прочищал горло.

— Да ведь это женщина! — сказал я.

Точильщик приблизился, встал рядом со мною на постаменте и тоже поднял глаза.

— Конечно, — воскликнул он, — это женщина.

Мы вдвоем стали вертеться перед нею, подняв глаза.

— У нее тут молоко, — сказал точильщик и засмеялся.

Засмеялись у подножья монумента девушки. Улыбнулся Большой Ломбардец.

— Это женщина! — повторил я и отошел на два шага по постаменту. Точильщик двинулся за мной, мы оба стали рассматривать женщину целиком.

— Неплохо, правда? — спросил точильщик.

Я обратил его внимание на ее улыбку. И точильщик подтолкнул меня локтем.

Женщина стояла прямо, подняв руку к небесам, а другую

согнув на груди, словно желая коснуться подмышки поднятой руки. Она улыбалась.

— Все з н а е т ! — сказал точильщик.

У подножья пьедестала засмеялась какая-то девушка, и точильщик добавил:

— Сколько в ней росту, столько она и знает.

— Она знает больше, — сказал я. — Знает, что неуязвима.

— Правда? — воскликнул мой собеседник.

— Конечно, — сказал я. — Она ведь знает, что вылита из бронзы.

— Ах, вот что! — воскликнули мои собеседники. А я продолжал: — Ведь это видно, правда?

— Видно, — признали мои собеседники.

Я опустил на одну ступеньку и снова уселся. И все отошли на несколько шагов и сели.

— Эта женщина — для н и х , — сказал я. Все согласились, и я продолжал: — Они — не обыкновенные умершие, они не принадлежат миру, а принадлежат чему-то другому, потому что эта женщина — для н и х . — « Г м », — говорил вчера солдат.

— Разве это не благородно с нашей стороны — воздвигнуть в их честь женщину? — продолжал я. — Этой женщиной мы их чтим. — « Г м , — говорил вчера солдат. — Г м , г м ! »

— Этой женщиной, — продолжал я, — этой женщиной... — Я прервал речь, солдат заговорил во мне, он сказал громко: — Г м !

— Г м ? — переспросили сидевшие вокруг меня собеседники.

— Ничего, — ответил я. — Я только сказал « Г м ».

Но тут во мне опять заговорил солдат, он снова с к а з а л : — Г м !

— Что это за штучки? — спросили друг у друга Усатый и Безусый. — Это замерзшее слово, — ответил я.

Сицилийцы переглядывались.

— А ! — сказал Порфирио. — Н у д а , — сказал Езекиеле.

— Конечно, — сказал точильщик.

А Большой Ломбардец утвердительно кивнул. Согласились все. А один добавил: — Я тоже знаю.

— Ч т о ? — спросил У с а т ы й . — Ч т о ? — спросил Безусый.

В высоте надо всем этим улыбалась бронзовая женщина.

— И много нужно страдать? — спросили сицилийцы.

Эпилог

XLIX

Таковы были мои сицилийские беседы, которые продолжались три дня и столько же ночей и кончились так же, как начались. Но я должен отметить, что и после конца случилось еще нечто.

Я вернулся к матери, чтобы проститься с нею, и застал ее в кухне, где она мыла ноги какому-то мужчине.

Мужчина сидел спиной к двери и был очень стар, а она, стоя на коленях, мыла ему старые ноги в тазу.

— Я уезжаю, мама, — сказал я. — Автобус уже пришел.

Мать подняла голову:

— Так ты не поешь с нами?

Мужчина не оглянулся ни после моих, ни после ее слов. Волосы его совсем поседел, он был очень стар, сидел, потупив голову, словно глубоко задумался или заснул.

— С п и т ? — вполголоса спросил я у матери.

— Нет. Плачет, дурачок, — ответила она. И прибавила: — Он всегда так. Плакал, когда я рожала, и сейчас плачет.

Вполголоса я воскликнул: — Как? Это отец?

А он не обращал на нас внимания.

Я подошел ближе, чтобы посмотреть ему в лицо, но он закрыл его рукой. Во всяком случае он казался мне слишком старым, и на миг я подумал, что это мой дед. И еще подумал, что это, может быть, мамин бродяга.

— Он только что вернулся? — спросил я вполголоса.

Мать неодобрительно трянула головой.

— Плачет, — сказала она. — Не знает, что я счастливая.

— Но тут она оставила старческие ступни в тазу и, поднявшись на ноги, отвела меня в сторону. — Кстати, ты меня обманул с этой Корнелией, — сказала она. — Ведь ее Гракхи пали не на поле чести.

— Не на поле чести? — воскликнул я, по-прежнему вполголоса.

— Нет, — продолжала мать, — я посмотрела в ваших детских книжках, пока тебя не было дома.

— Ладно, — сказал я и поцеловал ее в висок. — Пока.

— А ты не хочешь с ним поздороваться? — спросила мать, Я поколебался, глядя на старика, потом сказал:

— Поздоровуюсь в другой раз. Оставь его в покое. И на цыпочках вышел из дому.

Во избежание превратных и ложных толкований предупреждаю, что как главный герой этих «Бесед» не имеет никаких автобиографических черт, так и Сицилия, которая его окружает и сопровождает, стала Сицилией чисто случайно: просто название «Сицилия» звучит для меня приятнее, нежели Персия или Венесуэла. Кроме того, я полагаю, что все рукописи находят в бутылках.

ЭЛИО ВИТТОРИНИ

СИЦИЛИЙСКИЕ БЕСЕДЫ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Канторович*

Обложка художника *В. Чернецова*

Художественный редактор *Л. Филиппова*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 743

Сдано в набор 17.12.82. Подписано в печать 16.04.83. Формат 70X100^{1/32}. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л. 6,39. Тираж 50 000 экз. Зак. № 17. Цена 75 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, г. Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
